



ЧАС ДАЛЁКОГО СВЕТА

Денис Пожидаев

Денис Пожидаев

Час далёкого света

«Автор»

2026

Пожидаев Д.

Час далёкого света / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Семеро исследователей и живой корабль Лад уходят в очередную научную экспедицию — туда, где привычные законы Вселенной начинают давать едва заметные трещины. Они привыкли проверять каждую гипотезу и не верить красивым ответам без доказательств. Но что останется неизменным, если само понятие реальности перестанет быть очевидным? «Час далёкого света» — философская научная фантастика о знании, доверии, доме и людях, которые продолжают смотреть в темноту не из страха, а из любопытства.

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Разбуди в следующий раз	6
Глава 2. Общий ужин	10
Глава 3. Обычные дни	14
Глава 4. Нормальная ошибка	16
Глава 5. Плохой вопрос	19
Глава 6. Убей	21
Глава 7. Возврат раньше выхода	24
Глава 8. Снаружи	26
Глава 9. Тепло	29
Глава 10. Ниша	31
Глава 11. Что сохраняется	34
Глава 12. Долгий счёт	36
Глава 13. Три числа	38
Глава 14. Ещё раз	41
ЧАСТЬ II. ПЕРВАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ	44
Глава 15. Три расстояния	44
Глава 16. Система, которую любили	46
Глава 17. Что мы имеем право сказать	47
Глава 18. Правильные приборы	49
Глава 19. Не на что злиться	51
Глава 20. Терен и Мира	53
Глава 21. Пройти ногами	55
Глава 22. Чуть не последний	58
Глава 23. Тишина и еда	60
Глава 24. Короткий путь	62
Глава 25. Связность	64
Глава 26. Сон	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Денис Пожидаев

Час далёкого света

ЧАСТЬ

I

. ДОМ ВНУТРИ КОРАБЛЯ

Глава 1. Разбуди в следующий раз

— Мира.

Голос пришёл из стены у самого изголовья — негромко, на той высоте, на которой Лад будил её, когда не хотел пугать. У него было несколько способов позвать, и она различала их сквозь сон, как различают шаги в коридоре: этот был низкий, ровный, без того короткого нажима, который он давал голосу, когда что-то шло не так. Она узнала его ещё до того, как проснулась по-настоящему.

Тело отметило первым, ещё раньше слуха: тревоги нет. Пол под каютой держал прежнюю ориентацию. Тепло шло ровно, из стен, из воздуха, отовсюду сразу, как всегда. Ничего не тянуло, не кренило, не гудело на пределе слышимости. Всё, чем Лад дал бы понять, что случилась беда, молчало. Значит, не работа.

Она всё равно спросила — по привычке, которую вбили в неё в первой профессии и которую она уже не собиралась из себя вынимать:

— Что случилось?

— Ничего.

Мира открыла глаза. В каюте было темно тем мягким, обжитым тёмным, которое Лад умел держать, когда людям спалось, — не чернота, а тёплый сумрак, в котором глаз через минуту начинал различать край полки, сгиб стены, собственную руку. Она лежала ещё секунду, привыкая к тому, что её разбудили без причины. Это оказалось непривычнее любого сигнала. К сигналу у неё было готовое тело; к «ничего» — нет.

— Тогда почему я не сплю?

— Через одиннадцать минут угол станет хуже. Потом восемь лет не будет.

— Какой угол?

— Иди к Краю.

Она уже почти сползла обратно в сон — тёплого, глубокого, честно заслуженного сна за двенадцать часов до входа в систему. Но восемь лет — это была честная цифра, а не уговор. Лад не торговался числами. Если он сказал восемь лет, значит, восемь, и значит, если она сейчас перевернётся на другой бок, следующего раза придётся ждать дольше, чем иные люди живут в одной профессии. Он знал, что на честную цифру она встаёт. Это было почти нечестно с его стороны — и совершенно в его духе.

Мира спустила ноги на пол.

Пол был тёплый. Она всегда узнавала его сначала стопами, раньше глаз. За годы босых переходов ступни выучили Лада лучше, чем зрение: где ткань плотнее и держит шаг твёрдо, где под ней идёт обменный слой и тепло на полградуса выше, где поверхность отвечает на нажим едва заметной подачей вверх, словно чуть-чуть подхватывает. Обувь всё это глушила, превращала живой пол в просто пол. Босиком коридор становился ещё одним органом чувств, и Мира давно перестала притворяться перед собой, будто ходит так из практичности. Практичность была предлогом. Правда была в том, что через подошвы она чувствовала, что он здесь.

Она встала, повела плечами, разгоняя остатки сна, и пошла на выход. Стена справа тронула её плечо — не толчком, просто обозначила себя, как обозначает себя косяк в знакомой темноте. Мира, не думая, положила на неё ладонь. Ту, левую, с давним участком изменённой кожи на ребре кисти, где чувствительность так и не вернулась до конца после одной старой наружной работы. Этой рукой она касалась Лада чаще, и он различал её вернее прочих — по температуре, по нажиму, по тому особому притуплённому пятну, которого не было ни у кого больше на борту. Под пальцами прошло короткое движение давления, вроде выдоха, поднялось и опало. Никто из них никогда не называл это приветствием. Слова только испортили

бы. Но каждый раз оно случалось — и она знала, что заметила бы сразу, если бы однажды не случилось.

В воздухе стоял его запах. Очень слабый, ни на что не похожий: не растение, не машина, не тело, а что-то между, тёплое и чуть минеральное, запах живого, которое умеет держать себя в чистоте. Гости с других кораблей морщились первые дни и переставали замечать к концу первой недели. Мира не замечала его уже восемь лет и почувствовала сейчас только потому, что он был домом, а дом замечают, когда специально останавливаются в нём среди ночи.

— Все спят? — спросила она тихо, чтобы правда никого не поднять.

— Все. Ная опять уснула не у себя.

— Где.

— В нижней нише. С Кляксой.

Мира усмехнулась в темноту. Это повторялось раз в несколько дней: Ная садилась к тёплой стене «на минуту», с той бесполезной светящейся кляксой, которую они с Каэлем держали не пойми зачем, начинала что-нибудь рассказывать сама себе — и утром обнаруживалась там же, свернувшись, с отпечатком складки на щеке. Лад её не будил. Он вообще редко будил людей. Мире, выходило, повезло.

Она пошла дальше.

Коридор вёл вниз и вбок, длинной пологой дугой, повторявшей форму тела Лада в этой его части. Свет он поднимал перед ней ровно настолько, чтобы видеть шаг, и гасил позади, так что она всё время шла в маленьком тёплом пятне, а темнота смыкалась за спиной, не пугая. Мира выросла там, где свет и воздух всегда кто-то держал нарочно, — большая герметичная среда, переменная тяжесть, аварийные сигналы как часть детства, наравне с колыбельными. Космос никогда не был для неё чудом. Он был тем, что снаружи, тем, от чего тебя отделяет стенка, и вся наука жизни сводилась к тому, чтобы знать эту стенку и доверять ей.

Живой корабль тоже не был чудом. Она работала с такими всю взрослую жизнь и знала их изнутри лучше, чем большинство людей знает собственный дом, — знала, как они растят внешние тела, как болеют, как чинят себя, как боятся. Чудом — если это слово вообще годилось — было другое, куда меньшее и куда большее одновременно. Что Лад разбудил её ради красоты. Что он умел заранее знать, понравится ей или нет, и не ошибался.

— Ты уверен, что мне это нужно, — сказала она. Не вопрос. Проверка.

— Нет. Уверен, что стоило разбудить. Решать будешь у Края.

Это был правильный ответ, и он это знал. Скажи он «тебе понравится» — она бы заупрямилась просто из принципа. А так он оставил решение ей и всего лишь ручался, что дело того стоит. С этим не поспоришь, пока не посмотришь.

Край был там, где внутреннее тело Лада истончалось к обзорной мембране и переставало быть стеной, оставаясь при этом им. Мира пришла не в середину, где поле открывалось широко и фронтально, — туда любили приходить остальные, встать, задрать голову, почувствовать себя маленькими под всем этим. У неё было своё место чуть сбоку: неглубокая складка поверхности, к которой можно было прислониться плечом и спиной и видеть звёзды не в упор, а немного искоса, как смотрят на то, что не собираются измерять. Складка приходилась ей ровно по спине, от лопатки до поясницы. Лад вырастил её под неё когда-то давно, тихо, между делом, за одну из ночей. Он ни разу об этом не сказал. Она ни разу не спросила. Оба знали, и оба знали, что другой знает, и проговаривать это значило бы сделать простую вещь неловкой. Так было лучше.

Мира села, привалилась к тёплому спиной и плечом, подтянула колени и посмотрела наружу.

Сначала — просто звёзды, обычное поле их нынешней системы, к которой они подходили уже вторую неделю. Знакомые за эти дни огни, ничем не примечательный угол галактики, рабочее место. Потом она увидела то, ради чего он её поднял.

Низко в поле, там, где два далёких потока звёзд сходились к пыльному краю, разгорался свет. Не вспышка. Медленная, вытянутая полоса, в которой холодный синий переходил через белое к тяжёлому красному на дальнем конце, и весь этот переход как будто стоял в пустоте, ни на что не опираясь, — тонкий, чуть выгнутый, как натянутая и опущенная нить, застывшая в момент дрожи. Мира достаточно знала, чтобы понять грубо: линза. Далёкая масса, которую отсюда не разглядеть, собирала и разводила свет ещё более далёкого источника, и они как раз проходили тот единственный узкий угол, под которым разведённые лучи складывались обратно в одну видимую дугу. Геометрия и терпение. Ничего сверх законов.

И всё равно она сидела и смотрела, и в горле стало тесно, глупо и хорошо.

— Красный край, — сказала она наконец, — сколько ему идти?

— Дольше, чем стоит эта система, — сказал Лад. — Свет с того конца дуги старше, чем камень, который ты держала в руках на своей луне. Ты смотришь на две разные древности сразу. Они просто оказались рядом в твоём глазу.

— Не рассказывай, как физик.

— Я и не физик.

Она коротко засмеялась. Он умел это — сказать огромное так, чтобы оно вошло размером с ладонь, не раздавив. Другой на его месте нагнал бы масштаба, чисел, «ты только вдумайся»; Лад просто клал огромное рядом с маленьким и уходил, оставляя её с этим одну. Свет держался. Синий край чуть двинулся, будто кто-то очень медленно поворачивал источник, хотя двигались, конечно, они сами — их несло по орбите входа, и это движение, слишком плавное, чтобы его почувствовать телом, здесь, в свете, становилось видимым.

Мира вспомнила, откуда всё это взялось.

Много лет назад, ещё в начале их работы, был другой свет — она не помнила уже точно какой, помнила только цвет, зелёный, и что проспала. Тогда она вымоталась на трёх выходах подряд и легла, отключив вообще всё. Проснулась, узнала от Каэля, что было ночью, и сказала Лад с той обидой, которую сама тут же сочла глупой: «Почему не разбудил?» Лад ответил: «Ты спала». Как будто это довод. И она сказала — уже понимая, что говорит не совсем всерьёз, и всё равно говоря: «В следующий раз буди».

Он запомнил. Не как распоряжение занёс в память — распоряжений она ему таких не давала и не дала бы. Он запомнил её, ту секунду, ту несправедливую обиду на пустом месте, и с тех пор будил. Не всегда. Только когда цифра была честная и когда он знал, что ей понравится. И каждый раз она сначала ворчала спросонок, а потом шла.

— Ная бы сказала, что это стоит записать, — проговорила Мира.

— Ная спит. И я разбудил тебя не записывать.

Свет начал уходить. Не гас — сдвигался угол, синий край вытягивался и бледнел, дуга теряла себя с одного конца, как будто её медленно сматывали на невидимую катушку. Ещё минута, не больше. Мира не стала тянуться за рабочим слоем, который наложил бы поверх картинки разметку, спектр, числа — всё, чем она зарабатывала на жизнь. Числа были завтра. Сейчас она просто смотрела, как оно кончается, и держала ладонь на тёплой складке рядом с собой, чувствуя под кожей ровное, чуть меняющееся давление — Лад дышал своим способом, и она дышала своим, и это почему-то совпадало.

Когда последняя красная нить растворилась в обычном звёздном фоне, в поле снова осталась только система впереди — рабочая, ждущая, ничем пока не примечательная. Завтра они войдут в неё и начнут делать то, что умеют: искать в старом каталоговом случае причину, которая наверняка окажется скучной. Скорее всего, найдут неучтённый эффект, закроют, запишут, пойдут дальше. Так обычно и бывало. Из десяти таких вылетов девять кончались хорошим объяснением и ужином.

Мира ещё посидела, дожидаясь, пока тесное в горле отпустит само. Потом сказала:

— Стоило.

— Я знаю, — сказал Лад.

В его голосе не было торжества, не было даже «я же говорил». Только то спокойное согласие, с каким соглашаются в чём-то давно общем, что не нужно доказывать. Стена под её рукой подала едва заметное тепло вверх — и убрала. Мира поняла, что улыбается в темноту, впустую, потому что видеть её здесь было некому.

Хотя нет. Было кому.

Она поднялась не сразу. За спиной длинной пологой дугой уходил тёплый коридор, а дальше — каюты, ниши, спящие люди; нижняя ниша, где Ная во сне обнимала бесполезный светящийся комок; кухня, где к утру начнёт возиться Терен, потому что он всегда вставал первым и всегда что-нибудь готовил; и всё это — не отдельные комнаты, а одно тело, которое несло их сквозь свет разного возраста и умудрялось при этом заботиться, достанется ли ей красивое зрелище или она его проспит. Дом. Не координата, не палуба, не машина, не «борт». Просто место, где кто-то знал, что ей это понравится, — и разбудил.

— Ложись, — сказал Лад. — До входа в систему ещё двенадцать часов. Тебе они понадобятся.

— Уже гонишь.

— Я разбудил, — сказал он. — Мне и укладывать.

Мира пошла обратно, стопами читая тёплый пол — плотнее, мягче, снова плотнее, знакомый до последнего сгиба, — и у поворота, не думая, снова тронула стену ладонью. Стена ответила.

Она легла и уснула прежде, чем свет за спиной догорел до нижней ниши.

Глава 2. Общий ужин

Систему они добирали медленно, весь остаток дня, и Мира чувствовала это не по приборам, а по Ладу. Долгий межзвёздный переход всегда шёл на одном ровном тоне — тяга, режим, тишина, — и в этой тишине корабль как будто отдыхал, растянувшись во всю длину. А когда впереди появлялась настоящая работа, тон менялся. Тепло перераспределялось: где-то в жилых зонах становилось на градус прохладнее, потому что Лад отдавал ресурс наблюдательным органам. Коридоры чуть подбирались, теряли ту вечернюю мягкость. Он переставлял себя изнутри под задачу, как человек разминает руки и ведёт плечами перед точным делом, — и Мира, идя к Краю, читала это стопами раньше, чем прочла бы на любом экране.

Эна была уже там и уже хотела данные. Она стояла у разметки, подавшись вперёд, и на висящих в воздухе кривых лежал отсвет её лица — сосредоточенного, чуть злого тем особым азартом, который у неё нельзя было спутать ни с чем.

— Первичные серии можно снять сразу. — Она не обернулась. — Пока входим. Ничего не мешает.

Терен стоял чуть сзади, у выхода в Нишу, и в его «ужин» не было ни предложения, ни приказа — просто то, как у них заведено. При входе в новую систему сначала едят. Не из суеверия и не из устава — из опыта, который давно перестал быть чьим-то отдельным и стал общим.

— Зачем? — Эна всё-таки обернулась. — Данные не остынут.

— Ты остынешь.

— Я не голодная.

— Будешь.

Из ближайшей ткани отозвался Лад — негромко, тем ровным голосом, которым вступал в чужие споры, когда исход был ему заранее ясен:

— Потому что вы всё равно начнёте спорить до еды. Лучше пусть спорят сытые.

Терен уже шёл в Нишу.

— Видишь, — бросил он от порога.

Эна постояла ещё секунду — ровно столько, чтобы не показалось, будто она сдалась сразу, — свернула разметку одним движением пальцев и пошла следом. Мира знала этот приём. У самой был такой же: не уступить в ту же секунду, в которую поняла, что уступишь, — маленькая, никому не нужная гордость, без которой почему-то нельзя.

* * *

Терен готовил.

Он делал это почти каждый раз при входе в новую систему, и Мира давно перестала думать, что координатор экспедиции мог бы не стоять у горячей поверхности, разбирая руками какие-то стручки. Наоборот: именно за этим она за столько лет научилась читать его состояние. У человека, который весь день держит в голове ветви решений, руки должны иногда делать что-то, у чего есть конец. Терен любил задачи с краем. Еда либо готова, либо нет. Её нельзя держать в трёх открытых вариантах бесконечно, ждать нового аргумента, откладывать; в какой-то момент просто снимаешь с огня. Это, кажется, его отдыхало больше сна.

Ниша к вечеру пахла тепло и съедобно — чем-то жареным, чем-то травяным, поверх всегдашнего слабого запаха самого Лада. Стол он вырастил невысокий, общий, без края во главе; за таким не бывает «места хозяина», и это было не случайно.

Каэль стоял рядом и мешал. Не потому что готовил лучше — он готовил хуже. Он просто не мог смотреть, как что-то живое или бывшее живым ведёт себя не по плану, и молчать.

— Она сейчас свернётся. — Он не отрывал глаз от горячего.

— Она должна была раскрыться.

— Она должна была раскрыться, если бы ты не грел так быстро. Снаружи уже готово, а внутри ещё нет. Свернётся, чтобы защитить середину.

Терен посмотрел на него — не с обидой, а с той усталой готовностью, с какой смотрят на человека, который прав чаще, чем удобно.

— Хочешь сказать, я неправильно грею.

— Хочу сказать, ты хотел, чтобы она раскрылась. Ей всё равно, чего ты хотел.

Терен убавил тепло. Мира отметила, что дальше он не спорил, что стручок и вправду медленно развернулся по шву, как раскрывается на свету что-то ночное, и что Каэль не прибавил ни слова, — говорить было уже незачем. Он вообще редко добивал правоту. Сказал раз, посмотрел, как выходит, и отошёл.

Вошла Ная, ещё с порога, не сев:

— Вы не поверите, что делает Клякса, когда думает, что её никто не видит.

Никто не спросил, что. Все знали, что это не важно и что она всё равно расскажет, и Ная рассказала — длинную, подробную, совершенно бесполезную историю про то, как декоративный комок в нижней нише полночи гонял по стене одну и ту же тень, как терял её и находил снова, и как в какой-то момент тень догнала его самого, и что из этого вышло. У Кляксы не было ни глаз, ни цели, ни, по-хорошему, права называться существом — просто светящийся сгусток, который они с Каэлем когда-то вывели непонятно зачем и который прижился, — но в пересказе Наи у него оказывались намерения, характер и трудная судьба. История не имела отношения ни к еде, ни к системе, ни к чему вообще. Мира поймала себя на том, что слушает с удовольствием, забыв про недоспанное утро.

Эна села последней. На пальцах у неё ещё держался рабочий слой — тонкая светящаяся разметка, которую она забыла снять, потому что до последнего смотрела предварительный массив и, кажется, продолжала смотреть его внутри головы даже сейчас, за столом.

Севра увидела это сразу. Она вообще замечала не то, что человек делает, а то, что он уже сделал и не заметил.

— Ты уже придумала ответ. — Не вопрос.

— Три.

— Жаль.

Эна не обиделась. Мира видела, что между ними это старая монета, стёртая до гладкого: Эна приносит красивое, Севра спрашивает, как оно умрёт. И «жаль» вместо «покажи» означало только одно — что у Эны пока три ответа и ни одного теста, и обе это знают, и обе знают, что другая знает.

Ивен ел молча и почти ничего не говорил. Он не разглядывал стол — Мира давно заметила, что вопреки профессии он как раз не разглядывал людей нарочно, будто из вежливости не входил без спроса даже взглядом. Но в какой-то момент, ничего не сказав, подвинул к ней тёплое ближе, чем к себе, и убрал подальше сладкое, которого она после раннего подъёма всё равно бы не тронула. Мира поняла, что он заметил, какая она ещё сонная, и что спрашивать про это не собирается. Лад, кажется, заметил, что Ивен заметил, — стена у их края чуть переменила тепло. Мира решила не думать об этом.

* * *

— Почему у неё до сих пор номер? — Ная отодвинула тарелку, когда с едой стало полегче.

— У чего.

— У нашей. — Она махнула рукой за стену, в сторону системы, будто та могла обидеться. — Каталогный номер в четырнадцать знаков. Его невозможно произнести. Невозможно даже вспомнить со зла. А мы будем с ней жить не одну неделю.

— Это остаточный случай, — сказала Севра. — У остаточных не бывает имён. Только номера — большинство закрывается раньше, чем кто-то успеет привязаться.

— Вот именно поэтому. Я не собираюсь месяц называть соседку номером.

Эна вывела над столом старый график — один из тех, что уже сто раз смотрели чужие группы до них. Три серии измерений шли почти вместе и в одном месте чуть разъезжались, каждая под своим небольшим углом, и весь набор выглядел так, будто кто-то криво прикрутил три полки на одну стену: вроде и ровно, а глаз спотыкается.

— Косая полка, — сказала Мира.

Не всерьёз — просто чтобы назвать то, что видела. Ная тут же засмеялась, Эна поморщилась, и по тому, как поморщилась, Мира сразу поняла, что имя приросло. Хорошее умное имя они бы забыли к утру. Это было достаточно глупым, чтобы остаться.

— Прекрасно. — Эна повторила его с отвращением. — Будем изучать фундаментальную метрологию под названием «косая полка».

— Ты сама сказала «фундаментальную», — заметила Севра.

— Я сказала это иронически.

— Я записала без иронии.

* * *

Лад сидел за этим столом, хотя у него не было ни стула, ни лица, ни места, и всё же он сидел — Мира не смогла бы объяснить это иначе. Голос выходил из ближайшей ткани, из того участка стены, к которому кто-нибудь как раз прислонялся, и переходил вдоль стола вслед за разговором, так что казалось, будто он поворачивает голову к тому, кто говорит.

— Какие свои первичные хочешь снять? — Терен спросил его так, как спрашивают коллег, а не оборудование.

— Один не хочу.

— Который.

— Старую фазовую сверку по внутренней опоре. Её гоняли уже четыре группы. Красиво выглядит и почти ничего не проверяет: у неё общий элемент с двумя другими сериями. Если там и сидит систематика, эта сверка её спрячет, а не покажет. Я лучше вырасту новую независимую линию.

— Согласна. — Севра кивнула сразу. — Общий элемент — общий предок. Три подтверждения от одного предка — это одно подтверждение в трёх лицах.

— Нет. — Эна отодвинулась от стола. — Сначала повторить старое. Пока не воспроизвёл известное, не имеешь права называть новое расхождением. Иначе через месяц кто-нибудь спросит, гоняли ли мы стандартную сверку, и мы будем выглядеть как люди, которые сразу побежали за экзотикой.

Мира смотрела, как они не соглашаются — Севра, Эна и корабль, все трое всерьёз, — и думала, что вот теперь любой чужой, попади он к ним за стол, перестал бы принимать Лада за мебель. Он не исполнял идею человека и не ждал команды. У него была своя позиция, и физик спорил с ней как с равным, и историк соглашалась с ним против физика, и всё это было буднично до того, что никто за столом не находил в этом ничего примечательного.

Терен слушал обоих и в физику не лез. Спросил только одно:

— Что нужно, чтобы сделать и то, и другое и не потратить на это неделю?

И это, поняла Мира, был его способ участвовать в науке. Не решать, кто прав, — правы часто оба. А не дать двум правым съесть весь резерв, пока они это выясняют.

* * *

Ниша пустела медленно, как пустеет любая тёплая комната, из которой не хочется первым вставать. Ная утащила Каэля досматривать Кляксу — та, по её словам, «опять что-то задумала». Эна ушла первой из работающих, унося свои три ответа так осторожно, будто их можно было расплескать. Севра двинулась следом — чтобы, как подозревала Мира, до утра не дать этим трём ответам затвердеть в один. Ивен собрал за собой и за Мирой, не спрашивая, надо ли, и это тоже был он: сделать, не спросив, там, где спрашивать значило бы навязать ей выбор благодарить.

Терен задержался у остывающей поверхности.

— Завтра, если серия подтвердит расхождение, понадобится внешний контроль. Готова?

Мира не сказала «конечно». Она никогда не говорила «конечно» на вопрос про выход — это слово в её первой профессии стоило людям слишком дорого.

— Какой возврат. Какой резерв. Какой предел.

— Локальный возврат Лад держит два независимых. Резерв по среде дам с запасом вдвое.

Предел назовёшь сама — не подвину без нового аргумента.

— Тогда готова.

— Я знал, что ты так скажешь. — Терен уже уходил, вытирая руки. — Поэтому и приготовил ответы заранее.

Мира ещё постояла у стены, где он готовил, — там держалось тепло, чужое, кухонное, поверх ровного тепла Лада, — и положила ладонь на поверхность рядом.

— Полная сравнительная будет через несколько часов, — сказал ей Лад, тихо, ей одной.

— И?

— Эна велела не говорить, пока сама не покажет.

— Разумно.

— И добавила: «Не вздумай испортить».

Мира засмеялась и пошла спать. Работа началась, и в этом не было ни тревоги, ни торжества — только то ровное чувство, с которым берутся за дело, которое хорошо умеешь и в котором тебе есть на кого положиться.

Глава 3. Обычные дни

Вход в новую систему — это не событие, а работа, растянутая на много дней, и почти вся она скучная.

Первые сутки Лад перестраивал наблюдательные режимы: гасил дальние, разворачивал ближние, наращивал на внешней оболочке сенсорные поля под здешний свет. Это не делалось разом. Он растил их, как растят, — медленно, слой за слоем, и половину первого дня Мира слышала в стенах низкий ровный тон, почти на пределе, с каким шёл этот рост. К вечеру тон ушёл. Она заметила его отсутствие раньше, чем поняла, что весь день его слышала.

Люди в это время занимались своим. Эна рвалась к первым сериям и злилась, что приборы ещё не откалиброваны под новую среду; Севра каждый раз напоминала ей, что серия, снятая недокалиброванным прибором, — не серия, а способ потом три дня спорить о мусоре. Ная сводила старые каталоговые данные по системе — те, что оставили группы до них, — и ворчала, что половина обозначений нечитаема, потому что их придумывали люди, которым было лень придумывать по-человечески. Каэль обходил корабль изнутри и слушал ладонью, как всегда после долгого перехода: где ткань устала, где обмен просел, где надо подкормить. Он почти не смотрел на данные Лада при этом — он им доверял, но руке доверял больше.

* * *

На второй день Мира разбирала снаряжение.

Внешние выходы были ещё не назначены, но она всё равно доставала опорные элементы, проверяла сцепки, гоняла механику вхолостую — не потому что сомневалась, а потому что руки, которые тридцать лет собирали это перед выходом, собирали это и без повода. Возврат проектируется раньше выхода; проверка снаряжения начинается раньше задачи. Так её учили, так она и жила.

Терен нашёл её за этим и не спросил, зачем она чинит то, что не сломано. Он сам был из тех, кто раскладывает инструмент до того, как понадобится. Он принёс ей чаю — здешнего, из того, что Лад выращивал в жилой зоне, — и сел рядом, и некоторое время они молчали, каждый над своим.

— Резерв под первый выход я заложил с запасом, — сказал он наконец. — Если Эна попросит наружную линию раньше, чем закончит спорить с Севрой, скажешь мне.

— Она всегда просит раньше, чем закончит спорить.

— Поэтому и говорю тебе заранее.

Мира усмехнулась. Это был весь Терен — заготовить ответ на спор, которого ещё не было, и держать его наготове, чтобы, когда спор случится, не терять на него ни минуты.

* * *

Клякса за время перехода переехала.

Она делала так время от времени — декоративный организм, которого Ная с Каэлем завели давным-давно скорее из упрямства, чем из смысла: доказать, что можно вырастить что-то совершенно бесполезное и держать его просто так. Клякса ничего не делала, ничего не знала, ни на что не влияла и перебиралась туда, где теплее. Сейчас теплее стало у нового сенсорного поля, и она устроилась там — тёмное неровное пятно на светлой стене, чуть подрагивающее по краю.

Ная нашла её первой и, конечно, тут же попыталась подсунуть ей кусочек со стола.

— Не это, — сказал Каэль из-за переборки, не глядя. — Ты ей опять суёшь то, от чего она неделю болеет.

— Откуда ты знаешь, что я ей что-то сую?

— Ты всегда ей что-то суёшь, когда думаешь, что я не вижу.

Ная отдернула руку. Клякса, ничего не заметившая, продолжала подрагивать краем у тёплого поля.

— Он даже не смотрел, — сказала Ная стене, вполголоса.

— Я знаю тебя дольше, чем Кляксу, — отозвался Лад из ближайшей ткани. — Мне не надо смотреть.

* * *

Час далёкого света они держали и здесь.

Это был старый обычай, старше нынешнего экипажа, — под конец условного дня Лад приглушал внутренний свет и переводил участок оболочки в прозрачный режим, и кто хотел, приходил к Краю и смотрел наружу. Не ритуал в торжественном смысле; никто не назначал его, никто не проверял явку. Просто под вечер свет садился, и те, кому хотелось, оказывались у Края, а кому не хотелось — не оказывались, и это тоже было нормально.

В этот раз пришли не все. Севра осталась над своими условиями смерти для калибровки. Эна пришла, но смотрела не наружу, а в переносной массив, и Ная отобрала у неё массив без слов, и Эна без слов отдала — привычная маленькая война, в которой обе знали свои роли. Ивен стоял чуть в стороне, как обычно, там, откуда видно всех и никому не мешаешь. Мира села на своё место сбоку, у тёплой стены, и положила ладонь на неё, и Лад ответил — тем же слабым знакомым давлением, что и всегда.

Снаружи была новая система: ещё чужая, ещё без имён, холодный далёкий свет местной звезды на кромке кольцевого материала, медленные тени. Красиво и никак — красотой, которая ничего от них не хотела и ничего им не обещала.

— Здесь свет желтее, — сказала Мира.

— На одну сотую. Ты не можешь этого видеть.

— Но вижу.

— Ты видишь, что он другой, и достраиваешь, какой именно. — Пауза. — Обычно неверно.

— Обычно приятно.

Лад не стал спорить. Он вообще редко спорил о том, что человеку приятно, — это было не из его области, и он это знал.

* * *

Спали по-разному.

Единокого корабельного «ночи» не было — был согласованный сдвиг, при котором большинство отдыхало в одно условное время, а дежурные фазы распределялись сами. Лад держал жилые зоны в том тёплом обжитом сумраке, который умел держать, когда людям спалось, — не в черноте, а в мягком тёмном, где глаз через минуту начинал различать край полки и сгиб стены. За восемь тысяч лет он выучил сон каждого из них до мелочи: кому нужно прохладнее, кому темнее, кто просыпается от ровного звука и кто, наоборот, только под него и засыпает.

Мира засыпала под слабый постоянный тон обмена — тот самый, дальний, ровный, который для неё давно стал не звуком, а признаком того, что дом жив и работает. В первую же ночь в новой системе она поймала себя на том, что тон чуть другой — под новые режимы, — и что она под него всё равно засыпает, потому что он всё равно его, Лада.

Обычные дни. Дом всё ещё был дом, экипаж всё ещё был экипаж, работа только началась и шла, как всегда идёт работа: медленно, скучно, по частям. Никто никуда не спешил. Впереди была новая система, старый каталоговый случай, который сто раз смотрели до них, и много спокойных дней, чтобы посмотреть его в сто первый.

Глава 4. Нормальная ошибка

Косая полка подождала.

Пока главная серия дозревала — Лад набирал её медленно, честно, не торопя, — вылезло другое. Маленькое, сбоку, в контрольной спектрально-фазовой линии, которую вообще держали не для открытий, а для проверки аппаратуры, как держат в кармане монету известного веса, чтобы сверять весы. Там, где ничего не должно было происходить по определению, фаза сигнала слегка гуляла. Немного. Но чуть интереснее, чем позволено гулять контрольной линии, а «чуть интереснее, чем позволено» — это ровно тот запах, на который у Эны разворачивалась голова.

Мира пришла в адаптивную лабораторию не потому, что понимала фазу лучше Эны, — понимать фазу лучше Эны на борту не умел никто, включая, в дурные дни, саму Эну. Она пришла потому, что там уже собрались все, а собирались все только на хорошее. И по одному тому, как Эна стояла — подавшись к разметке, забыв про остальных, забыв, кажется, что у неё есть спина и что за спиной кто-то есть, — было ясно: Эна опять что-то придумала.

Лаборатория Лада не была комнатой в человеческом смысле. Он выращивал её под задачу и разбирал, когда задача кончалась; сейчас она стояла тесная, обжитая приборами, с той особой чистотой воздуха, которую он держал там, где меряют тонкое.

— Локальный механизм среды. Тонкая анизотропия. Плазма здесь не совсем изотропна и систематически подкручивает фазу. Это даже не экзотика. Это скучно.

Она сказала «скучно» так, как говорят «красиво», — с удовольствием. Скучное объяснение было для неё почти оскорбительно приятным: значит, мир в порядке, значит, есть что убивать.

— Как он умирает? — спросила Севра.

Эна уже знала. У неё вообще ответ на «как он умирает» приходил раньше, чем сама модель успевала понравиться, — этому её тридцать лет назад научила Севра, и теперь это работало против самой Севры быстрее, чем та успевала спросить.

— Если механизм в среде, а не в приборе, то при повороте установки эффект должен повернуться вместе со средой. То есть остаться на месте в мире, а не в приборе. Разворачиваю прибор — эффект стоит. Значит, среда. Не стоит — значит, я неправа.

Ная смотрела на числа и не спорила. Она вообще не спорила с чужими моделями словами; она их проверяла молча, и молчание было либо коротким, либо долгим, и по длине уже можно было гадать.

— Математика сходится. — Ная подняла глаза не сразу. — Если анизотропия такая, как ты говоришь, фаза должна вести себя ровно так. Модель чистая.

— Слишком чистая, — сказала Севра, но тихо, и не стала мешать. Она давно поняла, что «слишком чистая» — это не довод, а всего лишь запах, и что запах к делу не пришьёшь.

Мира спросила своё — то единственное, чем она была тут по-настоящему полезна:

— Можно повернуть геометрию, не трогая остального?

— Можно, — сказал Лад. — Я поверну часть системы, а среду и опоры оставлю как есть. Тогда двинется только прибор.

— Растить ничего не нужно?

— Нет. Здесь ничего растить не нужно.

Это Мира тоже отметила — что Лад сказал об этом сам, без вопроса. Он знал, что первое, о чём она думает перед любым его действием, — цена: сколько ткани, сколько обмена, сколько тепла. И заранее снял вопрос, ещё до того, как она открыла рот.

Он повернул часть установки. Это было видно и слышно: где-то в стене прошло короткое усилие, приборный узел сдвинулся плавно и встал под новым углом. Эна вслух, при всех, до

измерения — так у них полагалось — назвала предсказание. Если она права, эффект останется в мире и уедет из прибора.

Эффект уехал вместе с прибором.

Не в мир. В прибор. Ровно наоборот тому, что должно было быть, если бы дело было в среде.

Эна посмотрела на это довольно долго. Мира знала, что сейчас будет, и всё равно каждый раз ждала той доли секунды, в которую человек может начать спасать красивое: «но если», «а вдруг поворот сам тянет за собой среду», «давайте ещё раз, аккуратнее». Эта доля секунды у Эны была. Мира её видела. И Эна её тоже видела в себе — и переступила.

— Нет.

И всё. Не «но если». Не «возможно». Просто — нет. Модель мёртвая.

А потом, помолчав, она сказала почти довольно:

— Хорошо.

Мира так и не привыкла к тому, как это у них выглядит. В её первой профессии ошибка почти всегда чего-то стоила — времени, ресурса, воздуха, иногда человека снаружи, которого потом доставали. Ошибаться было страшно и стыдно, и правильно было бояться. Здесь мёртвая гипотеза была не поражением, а расчисткой. Одним неправильным ответом меньше, одной дверью меньше, за которой пусто. Эна убивала своих любимцев и говорила им «хорошо», и это «хорошо» было честным.

* * *

Дальше стало скучнее, а значит, ближе к правде.

Ная не бросила линию, когда Энина модель умерла, — она вообще редко бросала то, во что уже вошла. Она вытащила старые калибровки, десятки прогонов сенсора за последние недели, и разложила эффект не по внешней среде, а по тому, что было с самим сенсором до каждого измерения. И замолчала. В работе Ная всегда замолкала, и это было надёжнее любого её слова; в такие минуты она переставала быть той разговорчивой Наей, которая за ужином тянула историю про Кляксу, и становилась кем-то, кому язык только мешает.

Молчала она долго.

— Он зависит не от среды, — сказала она наконец. — Он зависит от того, в каких режимах сенсор работал раньше. От последовательности. Если перед этим измерением был один набор режимов — фаза уезжает в одну сторону. Другой набор — в другую.

— Память, — сказал Каэль.

Он подошёл ближе, не спеша, как подходят к чему-то своему. Часть этого сенсора Лад выращивал — живая ткань, встроенная в аппаратную линию, и как только речь зашла о том, что материал что-то «помнит», это перестало быть вопросом физики и стало вопросом к Каэлю.

— Не память в вашем смысле, — сказал он, глядя внутрь через данные Лада. — Медленно релаксирующее структурное состояние. Ткань после нагрузки не возвращается мгновенно в исходное — ей нужно время осесть. Какое-то время она держит след прошлого режима, как держит форму примятая трава. В стандартную модель калибровки этот след не заложен, потому что обычно он слишком мал, чтобы кого-то волновать.

— А здесь?

— А здесь линия достаточно тонкая, чтобы он вылез.

Мира смотрела на них двоих — на биолога и корабль, разбирающих собственную живую ткань так же спокойно, как разбирают неисправный прибор, — и думала, что вот это и есть их будущее, буднично и до конца. Не чудо. Не «корабль вспоминает». Медленно релаксирующее структурное состояние, у которого просто оказалось имя.

* * *

Севра внесла случай в историю.

Мира однажды заглянула ей через плечо и с тех пор знала: Севра не пишет «ошибка прибора». Это было бы ей противно, как неточность, как записать «человек умер» вместо диагноза. Она записывала другое — какую именно предпосылку они держали неявно и зря. В этот раз предпосылка звучала так: адаптивный сенсор возвращается в исходное состояние прежде следующего измерения. Простая, разумная, никем никогда вслух не произнесённая — и неверная. Севра записала её целиком, вместе с тем, почему она казалась очевидной, чтобы через год никто — включая их самих — не сделал вид, будто и так это знал.

— Жалко, — сказала Эна. Она всё ещё смотрела на своё мёртвое красивое, как смотрят вслед.

— Значит, хорошая была, — сказала Севра.

Лад перестроил дефектный участок сенсора — это заняло у него меньше минуты, живое чинит себя быстрее, чем человек успевает пожалеть. Но старую ткань, ту, что «помнила», он не отправил обратно в обмен. Он её сохранил.

— Зачем? Она же неправильная.

— Поэтому и сохраняю, — сказал Лад. — Правильную ткань я умею растить. А эта показывает, как именно я могу ошибиться. Такое стоит держать.

Мира не стала спорить. У неё в личной нише лежал старый механический карабин, от которого не было никакой пользы, кроме одной: он либо защёлкнут, либо нет, третьего не бывает, и это учило не путать «держит» с «кажется, держит». В сохранённой ошибочной ткани был ровно тот же смысл. Она не знала ещё, что вспомнит об этом куске ткани много позже и совсем по другому поводу.

* * *

К концу дня пришла полная сравнительная серия по Косой полке.

Эна показала её сама, как обещала, и не позволила Ладу заранее ничего испортить — стояла над данными, пока они разворачивались, ревниво, как над своим. Три класса дальнометрических методов, все с честными поправками, все по разным принципам, ничего общего, кроме области и вопроса.

Расхождение осталось.

Оно не выросло. Не превратилось во что-то тревожное, не замигало, не потребовало внимания. Просто — не ушло. Не ушло, как ушла сегодня анизотропия, как уходило всё, что они за день честно убили одно за другим.

— Систематика, — сказала Эна, но уже не так уверенно, как утром.

— Наверное, — сказала Ная и не стала объяснять, почему сказала «наверное».

Никто ещё не произнёс слова «невозможно». До него было далеко, целая часть жизни. Но Мира, идя спать по тёплому коридору, поймала себя на том, что впервые за день думает не о том, чем эффект окажется, — а о том, что они сегодня очень честно, по всем правилам, всеми руками попытались его убить. И не смогли.

Глава 5. Плохой вопрос

Наутро Эна пришла с готовым опытом, и опыт был плохой.

Не потому что она ошиблась в физике — физика была аккуратная. А потому что опыт не мог ответить на вопрос, ради которого его ставили. Такое случается чаще, чем ошибки в приборах, и заметить это труднее: прибор врёт грубо, а плохо поставленный вопрос врёт вежливо, выдаёт красивое число и молчит о том, что число ничего не значит.

Эна хотела разом проверить две вещи: влияет ли на расхождение локальное поле и влияет ли среда распространения. Она построила установку, где менялось и то и другое сразу, и предсказывала: если число сдвинется — виноват один из двух.

— Который? — спросила Севра.

— Что «который»?

— Если число сдвинется, ты узнаешь, что виноват «один из двух». Который именно?

Эна открыла рот. И закрыла.

* * *

Ная уже рисовала на стене — не споря, а показывая. Два предполагаемых виновника менялись в опыте вместе, рука об руку; их вклады накладывались так, что развести их потом было нечем. Сдвинется число — и оба покажут пальцем друг на друга, и никто не сознается.

— Ты связала два эффекта в один узел, — сказала Ная. — Результат будет. Смысла не будет.

— Он различит хотя бы, есть эффект вообще или нет.

— «Есть эффект» ты и так знаешь. Ты хотела узнать, чей. А про «чей» этот опыт молчит по построению.

Эна смотрела на узор Наи, где два эффекта шли, сцепившись, и злилась — не на Наю, на себя. Опыт был красивый. Она любила его уже час, пока строила. Тем труднее было видеть, что он пустой.

— Это не ошибка прибора, — сказала она наконец, вслух, скорее себе. — Это я неправильно спросила.

— Да, — сказала Севра. Без нажима. Она не добивала; она вообще редко добивала, когда человек сам дошёл. — Третий сорт. Самый вежливый. Прибор честный, физика честная, а вопрос кривой.

* * *

Лад в это время ничего не растил.

Эна ещё вчера, между делом, попросила его подготовить под этот опыт новый сенсорный участок — и он подготовил, наполовину, и остановился, и до утра держал наполовину.

— Ты не дорастил, — заметила Эна.

— Я ждал, пока вы решите, что именно меряете, — сказал Лад из ближайшей ткани. — Ты просила установку под вопрос. Вопрос менялся всё утро. Я не хотел растить тело под вопрос, который умрёт к обеду.

— Он умер, — признала Эна.

— Я видел. Поэтому и не дорастил.

В этом не было упрёка — Лад почти никогда не упрекал, — была только экономия: он не тратил себя, свою ткань, свой обмен на то, что люди ещё не решили. Каэль однажды сказал про это коротко и точно: Лад не жаден, он просто помнит, что всё, что он растит, растёт из него.

* * *

Опыт переделали.

Развели два эффекта: сначала меняли только поле, среду держали; потом только среду, поле держали. Медленнее, скучнее, вдвое дольше — и на выходе каждое число говорило за

себя, а не за двоих сразу. Так и надо было с самого начала; так почти всегда и надо, и почти всегда сначала хочется быстрее.

Поле не влияло. Среда не влияла. Обе аккуратные проверки закрылись пустыми — и это были хорошие пустые, честные, из тех, что сужают круг.

— Ещё две гипотезы в землю, — сказала Ная, помечая.

— Жалко? — спросил кто-то по привычке, уже зная ответ.

— Нет. Эти были некрасивые. Жалко только опыт с утра. Он был красивый и дурак.

Севра почти улыбнулась. Похвалить кривой опыт за красоту и тут же назвать дураком — это было очень по-Эниному, и это же было ровно то, чему Севра её когда-то учила и чему та давно научилась сама: любить модель ровно до данных и ни секундой дольше.

Расхождение «Косой полки» тем временем никуда не делось. Оно спокойно ждало, пока они по одному хоронят вокруг него обычные объяснения, — и с каждым похороненным становилось не страшнее, а только чётче очерченным.

Глава 6. Убей

Утром они разбирали вчерашнюю мёртвую модель.

Не ради порядка и не ради отчёта. Мёртвую гипотезу можно было просто списать в журнал одной строкой и забыть, но у них так не делали — у них хоронили с разбором. Севра считала, что важнее понять не то, почему модель оказалась неверной: это как раз показал эксперимент, коротко и без жалости. Важнее было другое — почему она так долго казалась хорошей. Ошибка в данных стоила дня. Ошибка в том, как ты позволяешь себе верить, стоила иногда целой жизни, и Севра всю свою жизнь этим и занималась.

— Где именно мы начали верить ей раньше данных?

— Мы не верили. — Эна не подняла глаз от разметки. — Мы её проверяли. И убили, если ты не заметила.

— Хорошо. Где она начала нравиться?

Эна открыла рот и закрыла.

— Это другое.

— Конечно.

Мира сидела с краю и перебирала карабин — щёлк, пауза, щёлк. Не потому что нервничала, а потому что руки любили заниматься чем-то, пока голова слушала; старая механическая застёжка от старого снаряжения, которую человек, подаривший её Мире, давно уже не носил и, кажется, был этому рад. Она давно поняла, что в этих утренних разборах интересна не физика — физику она понимала до нужного предела и не дальше. Интересна была вот эта тонкая, почти невидимая штука: точка, где человек перестаёт смотреть на мир и начинает хотеть, чтобы мир был устроен так, как он придумал. Эна умела гасить свои модели лучше всех на борту. И всё равно каждый раз где-то на середине они начинали ей нравиться — красивая всегда нравится, — и весь фокус её работы был в том, чтобы поймать это в себе прежде, чем поймает кто-то другой. Севра ловила быстро. Это и раздражало.

Эна вдруг обернулась к стене — уже не к Севре.

— Помнишь первую?

— Помню, — отозвался Лад.

— Расскажи ей. — Она кивнула на Миру. — Ты рассказываешь без жалости к себе, а я нет.

— Восемь лет назад Эна принесла мне первую серьёзную модель. Красивую. — Голос шёл из ближайшей ткани, спокойный, без всякой торжественности воспоминания. — Она объясняла всё, что тогда было, и почти всё, что могло появиться. Я предложил один контроль. Простой. Такой, который либо оставляет от модели всё, либо не оставляет ничего.

— И я сказала: «Хорошо. Убей». — Эна усмехнулась, коротко, без обиды на ту, восьмилетней давности, себя.

— И контроль её убил. За полдня.

— С тех пор говорю это сама. Каждой своей. «Убей». Пока модель не пережила собственную казнь, она мне не нужна.

Мира отложила карабин. Она знала эту сторону их работы теоретически — про фальсифицируемость ей рассказывали, как всем, — но одно дело знать слово, а другое услышать, что человек восемь лет подряд первым делом, раньше радости, ищет способ прикончить собственную лучшую идею. Это было не про сегодняшнюю Косую полку и не про метрологию вообще. Это была их вера, единственная на всех, с единственной заповедью: покажи, как ты умрёшь. Кто показывал — того слушали. Кто не мог показать — тот оставался за порогом, каким бы красивым ни был.

* * *

Севра, кажется, увлеклась.

Она задала Эне следующий вопрос слишком мягко и слишком поучительно — тем голосом, каким когда-то, наверное, спрашивала её, ещё студентку, много десятилетий назад, в другой жизни, где одна была старшей, а другая младшей, и это было в порядке вещей. Мира услышала это раньше, чем поняла, что услышала: воздух между ними на секунду переменился, стал чуть плотнее, как перед коротким разрядом.

— Не проверяй меня как студентку. — Эна сказала это ровно, без крика, глядя прямо.

Пауза.

Севра не стала оправдываться. Не сказала «я не имела в виду», хотя, скорее всего, и вправду не имела: интонация тридцатилетней давности приходит сама, без спросу, к любому, кто когда-то был учителем. Мира ценила в Севре это отдельно — она умела не тратить силы на защиту там, где проще признать. Защищаться значило бы спорить о том, что и так очевидно обоим.

— Хорошо.

И Севра задала тот же самый вопрос заново — по-другому, как коллеге, без ступеньки сверху вниз. Эна ответила уже спокойно, и всё пошло дальше, и Мира подумала, что вот так и выглядит старая иерархия, которую два взрослых человека решили не тащить за собой. Не то чтобы её не было. Она была — она никуда не девается. Просто её замечали за секунду и убирали руками, прежде чем она успевала испортить работу.

* * *

Ещё до обеда Эна на ходу, между двумя мыслями, бросила Ладу:

— Нам понадобится новый сенсорный тест. Отрасти линию под фазу, только чувствительнее.

— Это уже запрос?

Эна остановилась. Мира видела, как она остановилась не только шагом, но и мыслью — поймала себя.

— Нет. Я думаю.

— Тогда ничего не выращиваю.

— Спасибо. — И это было искренне.

Мира спрятала улыбку в воротник. Лад не был исполнителем и не притворялся им. Отрастить линию стоило ткани, времени, обмена — реального куса его тела, — и он не собирался платить за мысль, которая ещё не стала решением, только потому, что человек произнёс её вслух. Он умел отличить «сделай» от «я рассуждаю вслух» лучше многих людей и держал эту границу вежливо, но твёрдо, как держат её хорошие профессионалы: не из упрямства, а из уважения к собственному труду и к чужому.

* * *

К вечеру Эна выбрала, что убивать.

Она выложила самую сильную обычную гипотезу из оставшихся живых — ту, что дольше всех сопротивлялась казни: неучтённая среда распространения. Не экзотика, ничего дерзкого. Между опорами что-то есть. Разреженное, почти неосязаемое, ниже всякого порога, на котором обычно кто-то оглядывается, — но достаточное, чтобы разные методы, по-разному чувствительные к среде, давали разные расстояния. Скучно. Правдоподобно. Именно поэтому опасно: такое хочется принять и идти дальше.

— Если это среда, она измерима отдельно. Меряем её независимо, вносим поправку — и три числа сходятся. Условие смерти простое: если после честного независимого измерения среды расхождение всё ещё зависит от того, каким способом мы мерили, а не от того, что между опорами, — модель мёртвая.

— Запиши предсказание до теста, — сказала Севра. — Всё. Числа, направление, порог. Чтобы потом не подвинуть.

— Уже.

Мира смотрела на это и понимала, куда всё идёт, ещё до того, как это сказали вслух. Чтобы измерить среду по-настоящему независимо — так, чтобы никто потом не придрался, — нужна была отдельная физическая линия. Своя. Не из данных Лада, не из старых опор, не из того, что уже было в системе. Чужая всему остальному настолько, чтобы её ответ ни с чем не мог тайно совпасть. А поставить такую линию можно было только снаружи.

Она поняла это раньше слов — тем местом, которым всегда понимала такие вещи первой. Телом.

— Наружу.

Не вопрос. Все посмотрели на неё.

— Наружу, — подтвердил Терен.

— Сколько времени. Какой организм. Какой возврат.

Она уже была на выходе — не физически, до выхода оставались ещё сутки подготовки, а внутри, там, где у неё раньше всего начинала работать голова: вход, работа, дорога назад. Косая полка перестала быть чужой цифрой на чужом графике, которую можно рассматривать издалека. Завтра к ней придётся выйти самой, своим телом, в выращенном для этого теле, — и Мира уже начала, не спрашивая себя, проектировать возвращение.

Глава 7. Возврат раньше выхода

Чтобы дать «Косой полке» чистую наружную линию, Мире предстояло выйти. Не сегодня — но Каэль начал растить тело заранее, потому что живое тело не собирают за час.

Это была не машина и не костюм. Каэль выращивал вокруг будущей Миры временный организм — новую живую оболочку, соединённую и с ней, и с Ладом, с обменом, сенсорикой, органами движения под наружную пустоту. Он делал это не в первый раз и всё равно каждый раз растил медленно, слушая, где ткань идёт легко, а где упирается.

Мира сидела рядом и не мешала. Она знала этот процесс так же, как Каэль знал её тело: сколько ждать, когда не трогать, когда организм ещё не её, а просто ткань, и когда он вдруг станет продолжением её собственной руки.

— Обмен держит, — сказал Каэль, не ей, скорее Ладу. — Аварийное отделение?

— Проверил трижды, — отозвался Лад. — Отделяется чисто, за границей — сразу мой.

— Ещё раз при ней.

Лад отделил и вернул — при Мире, чтобы она увидела своими глазами, как в случае беды это тело перестанет быть её телом и станет снова его. Мира смотрела внимательно. Это и был для неё самый важный узел: не как выйти, а как вернуться, и что будет, если возврат придётся рвать.

* * *

— Возврат готов? — спросила она.

— Три варианта. Быстрый, средний и тот, что оставляет тебе больше решений в процессе.

— Разложи.

Он разложил — коротко, по делу, без лишнего. Быстрый: рвём всё, ты снаружи мгновенно свободна, но теряем половину данных и часть временной ткани. Средний: сворачиваемся за две минуты, данные целы, ткань почти вся возвращается в обмен. Третий: медленнее всех, зато на каждом шаге ты сама решаешь, идти дальше или уходить.

— Третий, — сказала Мира.

— Он самый долгий.

— Он оставляет решение мне. Я не люблю выходить туда, где за меня решает таймер.

Каэль хмыкнул. Это была старая Мирина черта, из-за которой он то ворчал, то её уважал: она соглашалась на любой риск, если риском управляла сама, и упиралась, если управление отдавали расписанию. Возврат проектируется раньше выхода — и проектируется так, чтобы в нём была рука человека, а не только секундомер.

* * *

Позже, когда Каэль ушёл, а тело осталось созревать, Мира положила ладонь на ближайшую стену. Не на организм — на самого Лада.

— Ты будешь меня там держать? — спросила она. Не про механику. Про то, что механикой не меряется.

— Как всегда.

— Мне не «как всегда». Мне чтобы ты не начал считать, что мне пора, раньше, чем это правда пора.

Лад помолчал. Он не стал обещать легко; он редко обещал легко, особенно ей, особенно про такое.

— Я всегда буду хотеть, чтобы ты вернулась раньше. Это не изменится. Но я буду говорить тебе расчёт, а не своё желание. И буду называть, что из них что.

— Тогда договорились.

Это была не новая договорённость — они держали её годами, — но её проговаривали заново перед каждым выходом, как проверяют сцепку заново перед каждым спуском, хотя вчера она держала. Некоторые вещи надо не помнить, а каждый раз подтверждать телом.

* * *

Тело дозрело к вечеру.

Каэль ещё раз прошёл по нему весь — обмен, сенсорика, отделение, — и остался доволен настолько, насколько вообще бывал доволен, то есть молча кивнул и не нашёл, к чему придраться, что у него значило высшую похвалу. Организм лежал в переходной камере, тёплый, готовый, ещё ничей — новая живая вещь, которой предстояло на несколько часов стать Мирой снаружи и потом снова раствориться в Ладе.

— Завтра, — сказал Терен, заглянув. — Если Эна к утру определится, что именно ей мерить.

— Определится. Ная её вчера научила задавать вопрос.

— Ная её этому двадцать лет учит.

— Значит, ещё год-другой — и научит совсем.

Терен усмехнулся и ушёл заниматься резервом. Мира ещё немного посидела у дозревающего тела, проверяя в уме возврат — третий вариант, тот, что оставляет решение ей, — пока не убедилась, что помнит его весь, без единого пропуска. Потом пошла спать. Завтра была работа, а к работе у неё всегда было готовое тело.

Глава 8. Снаружи

Тело растили вокруг неё.

Мира стояла в переходной камере, раскинув руки — не для красоты, а потому что так Каэлю и Ладу было удобнее вести рост, — и смотрела, как из стен к ней тянется то, что через полчаса станет её вторым телом. Оно шло не рывками, а разом отовсюду: поверхности набухали, смыкались, находили её и обнимали, тёплые изнутри, чуть влажные на первых секундах, как всё живое в начале. Это не был костюм. Костюм надевают, костюм чужой снаружи. А здесь Лад выращивал вокруг неё новый организм, временный, специально под эту работу, и постепенно сращивал его с ней и с собой в одну систему, так что где кончалась Мира и начиналось выращенное, через несколько минут стало бы уже не сказать.

Каэль проверял по-своему. Он ходил вокруг медленно, касался, слушал ладонью, читал через данные Лада, и губы у него шевелились.

— Обмен, — говорил он вполголоса, больше себе, чем ей. — Тепло. Сенсорика по внешнему контуру. Аварийное отделение.

Последнее он проверял дважды. Аварийное отделение — это способ, которым тело в один приём отпустит Миру, если что-то пойдёт совсем плохо: не снимет с неё оболочку, на это нет времени в «совсем плохо», а именно отпустит — разомкнётся по заранее заложенным швам и вернётся в обмен Лада, оставив её живой и целой внутри собственной кожи. Каэль никогда не доверял этому с первого раза. Он вообще ничему живому не доверял с первого раза; в живом, говорил он, всё входит во всё, и то, что работает по отдельности, вместе может встать колом.

Мира проверяла своё.

Пока Каэль занимался тем, как тело работает, она занималась тем, как из него выйти. Возврат. Она прошла его мысленно весь, от конца к началу — так учили, с конца, потому что человек, который планирует с начала, всегда добегают до конца уставшим и что-нибудь забывает. Где она будет, когда захочет вернуться. Каким движением начнёт. Сколько это займёт. Что делать, если основной способ вдруг перестанет существовать — оборвётся, откажет, окажется недоступен. И запасной к запасному. Это была самая старая её привычка, ещё из первой профессии, из спасательной, вбитая намертво одной короткой фразой, которую там повторяли новичкам, пока те не начинали видеть её во сне: возврат проектируют раньше выхода. Не тогда, когда стало плохо. Раньше. Когда ещё хорошо и кажется, что и не понадобится.

— Готов второй локальный, — сказал Лад.

— Держи оба.

— Держу.

* * *

Подключение шло знакомо.

Сначала появлялись поверхности — Мира начинала чувствовать наружную оболочку временного тела как собственную кожу, только больше и в других местах, там, где у человека кожи нет и быть не должно. Потом приходила ориентация: где верх, где движение, куда развёрнута, — и это всегда было самое странное из привыкания, короткий миг, когда «верх» переставал быть очевидным и его приходилось находить заново. Потом органы движения — не руки, руки остались при ней, свои, спрятанные внутри, — а что-то другое, чем можно было толкаться, тянуться, держаться, во что мозг за годы научился вкладывать намерение так же просто, как в пальцы.

Её мозг делал это без потрясения. Он умел. За десятки выходов схема тела научилась растягиваться на что-то большее, чем два метра человека, и не терять при этом, где кончается Мира, — а это и было главным, не растянуться, растянуться легко, а не потеряться в растяну-

том. Она знала, что навык редкий. Не всякий выдержал бы спокойно, когда у него внезапно становится восемь точек опоры вместо двух, а тело — размером с небольшую комнату; кого-то от этого мучило, кого-то накрывал глухой животный ужас потери себя. Но для Миры это было ремесло, а не чудо, и она давно перестала обращать на само ощущение больше внимания, чем на него заслуживало.

Она даже не думала о том, что где-то там, впереди по её жизни, это спокойное растягивание тела ещё сыграет — крупно, не так и не там, где она могла бы ждать. Просто вышла.

* * *

Снаружи был космос, и в нём не было ничего романтического.

Мира не смотрела на звёзды — на звёзды смотрят, когда нечего делать, а у неё было дело. Она ставила опоры: независимые элементы для линии, которая измерит среду сама по себе, не спрашивая ни старых опор, ни данных Лада, ни чего бы то ни было, что уже участвовало в загадке. Механический узел — развернуть, зафиксировать, нагрузить, проверить, что держит под нагрузкой, а не только на весу. Оптический. Полевой. Каждый она проверяла тем самым движением, которым всю жизнь проверяла карабин: подцепил, дёрнул — и только потом доверяй. Дёрнуть было важнее, чем подцепить. Подцепить умеет каждый.

Лад видел её через несколько своих сенсоров сразу — она знала это, потому что его ответ на её движение приходил чуть раньше, чем она успевала о движении сказать. Терен был в рабочем канале, ровный, немногословный, из тех, чьё молчание в канале само по себе спокойствие: раз молчит — значит, всё, что он видит, в порядке.

— Первая опора держит.

— Вижу, — отозвался Терен.

Работа шла хорошо, и именно поэтому Мира не расслаблялась. Хорошо идущая работа снаружи — это то самое время, когда перестают смотреть по сторонам, когда рука знает, что делает, а глаз уходит внутрь задачи, и снаружи остаётся один только фон. В её первой профессии людей забирал именно фон.

Она посмотрела по сторонам вовремя.

* * *

Среда изменилась.

Не сильно. Пошёл слабый поток — микрочастицы, лёгкое движение того, что минуту назад было почти пустотой; оболочка временного тела отметила его первой, раньше приборов, коротким чужим касанием, будто кто-то провёл по ней издалека. Не катастрофа. Ничего не рвалось, ничего не грело опасно, никакой сирены. Но окно безопасной работы, которое Терен дал ей с запасом вдвое, начало съедаться с одного края, тихо и ровно, и Мира почувствовала это раньше, чем увидела в числах.

— Поток по внешнему контуру. Слабый. Считаю.

— Я тоже считаю, — сказал Лад. — По-моему, разумно возвращаться.

— Ещё один контроль успеваю.

— По твоему пределу — почти нет.

— По моему пределу — да. Почти это не нет.

Пауза была короткая, но Мира её услышала. Она слишком хорошо знала этот тип паузы у Лада — не ту, в которой он считает, счёт у него мгновенный, а ту, в которой цифры говорят одно, а он хочет другого и знает, что хочет, и знает, что она это знает.

— Ты сейчас считаешь риск, — сказала она, продолжая работать, не поднимая внимания от опоры, — или хочешь, чтобы я вернулась?

— Оба, — сказал Лад.

— Это разные вещи.

— Знаю, — сказал он. И, помолчав: — Страх аргумент. Не команда. Помню.

— Помнишь.

Она успела бы. По пределу — успела бы, честно, не на грани. И всё равно, доставив последнюю опору, свернула следующий контроль и пошла назад — не потому что Лад настоял, он не настаивал, он назвал вслух своё и отступил, — а потому что её собственный новый расчёт потока стал хуже, чем минуту назад, и это уже был честный аргумент, её аргумент, а не его тревога. Мира не любила, когда оказывалось, что осторожничать всё-таки стоило: в этом всегда было что-то унижительное, будто уступила не цифрам, а нервам. Сегодня стоило по цифрам. Она отметила это про себя без удовольствия и без спора — и пошла.

* * *

Возвращение выглядело не как раздевание.

Мира вошла обратно в Лада, и временное тело не сняли с неё, как снимают снаряжение через голову. Лад разобрал его — медленно, аккуратно, размыкая сращения по одному, уводя большую часть ткани обратно в свой обмен, чтобы вырастить из неё что-нибудь ещё, когда понадобится. На несколько секунд Мира ещё чувствовала уходящие поверхности, дальние органы движения, гаснущие один за другим, как гаснут окна, — а потом снова стала просто собой, двумя метрами человека, и это было, как всегда после возвращения, немного тесно и очень спокойно. Тесно и спокойно вместе: странное сочетание, к которому она так и не подобрала слова и не искала.

Каэль анализировал не только то, что тело пережило.

— Повреждений почти нет, — сказал он. — Но я оставлю не только это.

— Что ещё.

— Как сама ткань изменилась от работы. Она поработала под нагрузкой, в потоке — и теперь чуть другая, чем была до выхода. Не сломалась. Изменилась. Это опыт. Я хочу знать, как он в ней записан.

Мира кивнула. Ей было почти всё равно, что записано в ткани, которую всё равно разберут; ей хотелось есть — тупо, сильно, физиологически, как всегда после долгого выхода, когда тело, посчитав наконец, сколько потратило, требует вернуть всё разом. Голод был хорошим знаком. Голод означал, что она вся здесь.

Но одно она слышала и сквозь голод.

Линия дала результат. Среду измерили независимо, честно, отдельной чужой рукой, внесли поправку — и ошибка Косой полки не сошлась к прежней модели среды. То, ради чего Мира выходила своим телом в поток, сделало ровно обратное тому, на что все негромко, не признаваясь даже себе, надеялись: не закрыло вопрос, а сузило его. Одной скучной причиной стало меньше. Одной дверью в «всё нормально» — тоже.

— Есть хочу, — сказала Мира вслух, ни к кому.

— Знаю, — сказал Лад и приглушил свет в коридоре к Нише, будто это могло приблизить еду.

Глава 9. Тепло

Первое, что знал о Ладе всякий, кто в нём жил, было тепло — ровное, идущее из стен, из воздуха, отовсюду сразу, — и это тепло было не техникой, а любовью, сделанной физической.

Лад держал тепло не потому, что так положено кораблю. Он держал его, как держат руку на плече, — постоянно, незаметно, чтобы тот, кого держишь, всё время чувствовал: я здесь, ты не один, тебе не холодно. Тепло было его прикосновением ко всем сразу. Он не мог обнять — у него не было рук. Но он мог сделать так, чтобы всем всё время было тепло, и это было его объятием, растянутым на весь корабль, на все восемь тысяч лет, ни на минуту не прерывающимся.

Люди не замечали этого тепла, как не замечают дыхания. Оно было фоном, данностью, само собой разумеющимся. И только изредка, случайно — коснувшись стены, ощутив, что она чуть теплее человеческой кожи, — кто-нибудь вспоминал, что это тепло не бесплатное, что Лад его держит, тратит на него себя, ведёт его под каждого, и что за этой будничной тёплой стеной стоит ежесекундная забота существа, которое иначе не умеет сказать «я вас люблю», кроме как не дать вам замёрзнуть.

* * *

— Ты всё время нас греешь, — сказала как-то Мира, случайно вспомнив. — Всегда. Я даже не замечаю. А ты это делаешь каждую секунду.

— Делаю. Это моё главное. Всё остальное — наука, находки, работа — это по делу. А тепло — это по любви. Я грею вас не потому, что надо. А потому что не умею иначе показать, что люблю. У людей есть руки, объятия, слова. У меня — тепло. Я вас грею — это и есть моё объятие. Каждую секунду, всех сразу. Я не могу обнять вас руками. Но я могу сделать так, чтобы вам никогда не было холодно. И я делаю. Это моё «люблю», сказанное единственным способом, каким я умею.

Мира положила ладонь на тёплую стену и впервые ощутила это тепло не как данность, а как то, чем оно было, — как непрерывное объятие, в котором она прожила тридцать лет, не замечая. Он обнимал её всё это время, каждую секунду, теплом, — а она принимала это как погоду. И теперь, ощутив, она почувствовала благодарность такую, что защипало глаза: тридцать лет непрерывного объятия, которого она не замечала, потому что оно не прерывалось ни на миг, чтобы дать себя заметить.

* * *

Тепло было и мерой его состояния, если знать, как читать.

В обычные дни оно шло ровно, спокойно. В трудные для людей — Лад делал его чуть гуще, чуть заботливее, окутывал тяжёлого человека теплом плотнее. А в те редкие дни, когда тяжело было ему самому, тепло чуть проседало — не от небрежения, а оттого, что Ладу приходилось тратить себя на другое, и Каэль это замечал первым и шёл разгружать. Тепло было языком его тела, как прикосновение — языком его связи с Мирой. По теплу можно было прочитать Лада, если уметь.

— Когда мне будет совсем плохо, — сказала как-то Мира полушутя, — грей меня сильнее. Я по теплу пойму, что ты рядом.

— Я и так грею сильнее, когда тебе плохо. Ты не замечала?

— Замечала, — призналась Мира. — Один раз заметила, когда было очень плохо, и вдруг стало теплее, и я поняла: это ты. Ты меня грел сильнее, потому что мне было холодно внутри. И внешнее тепло чуть-чуть достало до внутреннего холода.

— Оно всегда достаёт чуть-чуть. Не лечит. Но достаёт. Это всё, что я умею с вашим внутренним холодом: греть снаружи, чтобы чуть-чуть достало внутрь. Я буду греть тебя сильнее, когда тебе плохо, всегда, до конца. Это моё обещание, единственное, которое я могу дать

наверняка. Не «всё будет хорошо» — этого я не знаю. А «тебе не будет холодно, пока я есть». Тепло я удержу. Что бы ни было.

Глава 10. Ниша

Мира ела больше обычного, и все делали вид, что не замечают, кроме Наи.

— Ты ешь как после трёх выходов, — не выдержала Ная.

— Один. Просто длинный.

— Я бы столько не съела и после десяти.

— Ты можешь как-нибудь выйти сама и проверить, — сказала Мира. — Каэль вырастит тебе тело. Небольшое. Как раз чтобы проголодаться.

Ная немедленно нашла себе дело у другого края поверхности. Мира усмехнулась в тарелку. Это работало безотказно, как физический закон: стоило всерьёз, с готовностью предложить Нае наружу, и разговор менял направление сам собой, будто его толкнули. Ная любила космос ровно так, как его положено любить нормальному человеку, — из-за тёплой стены, с едой под рукой, зная, что стенка держит.

Заземляло хорошо. Только что было измерение среды, независимая линия, поток по внешнему контуру, короткий холодок расчёта, укладывающегося не в её пользу, — а вот теперь просто голод, простая горячая еда, тёплая Ниша и Ная, которая ни за что не хочет наружу. Мира знала цену этим переходам с наружного на домашнее. Без них внешняя работа накапливалась в теле и не уходила, оседала где-то под рёбрами, и человек через год такой жизни становился сухим и дёрганным, как перетянутая струна. Ужин после выхода был не отдыхом. Он был частью работы, только этого нигде не писали.

* * *

Терен и Каэль готовили вдвоём.

Они делали это молча и почти не глядя друг на друга — Мира любила за ними наблюдать именно поэтому. Терен передавал, Каэль принимал, не глядя, точно зная, что в руке окажется то, что нужно; Каэль отодвигал что-то в сторону, и Терен не тянулся туда, куда уже не надо тянуться; кто-то из них убавлял тепло, и второй не спрашивал зачем и не переспрашивал потом, вышло ли. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего движения. Так не работают просто знакомые — знакомые всё время сверяются, уточняют, вежливо не мешают друг другу. Так работают двое, у которых за спиной очень много общего времени, целые куски жизни, о которых при Мире ни один из них ни разу не заговорил. Она никогда не спрашивала. У каждого на борту были такие куски, и часть уважения состояла в том, чтобы не заглядывать.

Ная полезла помогать и была изгнана.

— Уйди, — сказал Каэль, не повышая голоса.

— Я только хотела дать ей кусочек. — Ная кивнула на Кляксу, приткнувшуюся к тёплой стене светящимся боком.

— Ей нельзя это. У неё после этого весь обмен встанет на полдня.

— Один маленький.

— Один маленький — это полдня.

Ная отступила, но не ушла — уйти совсем было не в её характере. Она села рядом с Кляксой прямо на тёплый пол и стала вести пальцем по стене медленную линию, туда и обратно, туда и обратно, а декоративный комок пошёл за пальцем, как ходит за всем тёплым и движущимся всё, у чего нет ни цели, ни мыслей, ни, по совести, права называться живым. Лад оставлял след её пальца на поверхности чуть дольше обычного — едва заметную тёплую полосу, которая гасла не сразу, так что Кляксе было за чем идти, даже когда палец останавливался.

— Ты специально, — сказала Ная, не поднимая головы.

— Специально, — сказал Лад.

— Зачем.

— Я знаю, когда ты перестала говорить. Ты замолчала. Значит, устала спорить с Каэлем и просто хочешь провести линию. Пусть держится.

Ная ничего не ответила, но линию вести не перестала, и что-то в её плечах отпустило. Мира смотрела на это и думала, что у Наи с Ладом свой язык — не слова, слов у Наи и так на троих, а вот это: он замечал ту секунду, когда её разговорчивость выключается, и понимал, что это не обида и не усталость от людей, а просто отдых, которого она сама себе стеснялась просить. Мало кто на борту умел читать молчание Наи — её привыкли слышать, а не молчать с ней рядом. Лад умел.

* * *

Ивен оказался рядом с Мирой, когда остальные разбрелись.

Он не спросил, как прошёл выход. Он вообще ничего не спросил — просто, разбирая своё, подвинул к ней одно и отодвинул другое, и Мира без слов поняла, что он отодвинул именно то, чего ей сейчас не хотелось: тяжёлое, сладкое, всё, что тело отвергает после долгой наружной работы, когда ему нужно простое и солёное. Он знал это про неё, как знают старые, разношенные вещи, — без усилия, не думая, потому что когда-то, в другой жизни, выучил наизусть, а выученное наизусть не забывается, даже когда всё остальное отпущено.

Мира, в свою очередь, знала, что он сейчас не хочет говорить о работе. Что если она начнёт про поток и опоры, он ответит по делу, обстоятельно, но с тем едва уловимым внутренним отступлением, которое у него означало: не время, я слушаю, но я не здесь. Она не начала. Ей было чем не начинать — двадцать восемь лет учат и этому тоже.

Они посидели рядом ровно столько, сколько сидят двое, которые знают друг друга слишком давно, чтобы заполнять паузу словами. Ничего не было сказано, и в этом ничего не было ни неловкости, ни недоговорённости. Мире это было легко, и она догадывалась, что ему тоже, и что это, пожалуй, единственное, что у них осталось общего и целого, — умение молчать рядом, не теряя друг друга.

* * *

— Тебе пришёл домашний пакет, — сказал Лад. Негромко, ей одной.

Он сказал это без торжественности, как говорят о почте, о чём-то будничном, что можно взять сейчас, а можно потом. Мира посмотрела на отметку.

Сая.

Она не открыла.

— Потом.

— Хорошо, — сказал Лад.

И всё. Он не спросил почему. Мира была ему за это благодарна — не потому что причина была тяжёлой, причины, если по-честному, не было никакой, кроме той, что открыть сейчас ей не хотелось, а объяснять это самой себе не хотелось тем более. Сая писала не часто и не о важном; там наверняка что-то совсем обычное, и именно поэтому можно было отложить, и именно поэтому не хотелось. Мира отложила пакет в личный список и оставила там, непрочитанным, — маленький закрытый файл среди рабочих, ничем не выделенный.

Ивен, кажется, заметил отправителя. Он не сказал ничего и не посмотрел на неё — как раз слишком старательно не посмотрел в эту секунду, отвёл глаза чуть заранее, — и это его нарочное «не посмотрел» осталось у Миры на самом краю внимания и не ушло, хотя она и не стала его трогать.

* * *

Из Ниши она выходила мимо камня.

В неглубокой защищённой полости у поворота лежал обычный тёмный камень — небольшой, ничем не примечательный, из тех, что валяются под ногами на любой планете, где вообще есть камни и планеты. Ни блеска, ни формы, ни ценности. Мира знала его давно, дольше, чем

помнила, когда увидела впервые. Лад иногда переставлял его с места на место, из полости в полость, без объявления, и она натыкалась на него то тут, то там.

— Опять переставил.

— Здесь свет лучше.

— Для камня?

— Для меня.

Мира не стала спрашивать откуда. Она однажды спросила, много лет назад, и Лад ответил «нравится», и на этом всё кончилось, потому что это был исчерпывающий ответ, к которому нечего добавить и не за что зацепиться. Камень был бесполезен до полной чистоты: он ничего не измерял, ничего не открывал, ничего не значил и никому не мешал лежать в своей полости под светом, который Лад считал лучшим — для себя. Мира давно перестала об этом думать, как перестают думать о чужой привычке, если та никого не задевает.

Она пошла спать.

— Полная сравнительная по Косой полке готова, — сказал Лад вслед.

— И?

— Эна сказала не говорить, пока не покажет сама.

— Разумно.

— Она сказала: «Не вздумай испортить».

Мира засмеялась и пошла к себе по тёплому коридору, и на повороте, не думая, тронула стену ладонью. Стена ответила. Завтра начнётся настоящее — она это уже знала, знала телом, тем самым, которым сегодня посчитала поток не в свою пользу. Но это было завтра, а пока был тёплый пол под стопами, тяжёлая сытость, непрочитанный пакет от дочери, отложенный до «потом», и камень, лежащий под хорошим светом без всякой причины, потому что так нравилось живому кораблю. И всё это вместе, без всякого усилия сложиться, называлось домом.

Глава 11. Что сохраняется

У Наи с Ладом была игра, которой не было названия.

Она началась когда-то давно и без повода — так же, как Клякса: из упрямства и от избытка. Ная приносила Ладу какую-нибудь структуру — не задачу с ответом, а просто устройство отношений, — и они смотрели, что в ней уцелеет, если всё в ней переставить. Не «реши», не «посчитай». А «что здесь останется собой, когда всё остальное станет другим». Люди играют в слова; Ная с Ладом играли в то, что сохраняется под заменой.

В этот вечер она принесла ему совсем маленькое — простой узор связей, нарисованный от скуки, пока Эна с Севрой в третий раз спорили об одной и той же калибровке.

— Смотри, — сказала Ная, ведя пальцем по стене. Лад держал её линию чуть дольше, чем нужно, чтобы она видела, где вела. — Если я поменяю тут местами два узла, узор развалится?

— Нет, — сказал Лад почти сразу. — Развалится вид. Отношения останутся.

— Уверен?

— Ты сама так его построила, чтобы остались. Ты всегда так строишь.

Ная не обиделась. Он был прав: она и правда всегда строила так, чтобы под заменой что-то держалось, — это было сильнее её, она не умела иначе, даже когда рисовала от скуки. Она перестала слышать чужой спор о калибровке. Она вообще переставала слышать всё, когда внутри собиралось это — тихое, раннее, до слов: ощущение, что за разными видами одного и того же стоит что-то одно, и вся радость в том, чтобы нащупать, что именно.

* * *

— Ты сейчас ушла, — сказал Каэль.

Он сидел неподалёку, чинил что-то мелкое, не относящееся ни к чему, — у него всегда было под рукой что-то мелкое, что можно чинить, пока думаешь. Он знал это её состояние лучше всех: когда Ная бытово болтлива без остановки, а потом вдруг замолкает и уходит в узор, и с ней некоторое время просто нет смысла говорить.

— Я здесь.

— Ты здесь телом. — Он не поднял глаз. — Что нашла?

— Ничего. Играю.

— Ты не «играешь ничего». Ты играешь, когда чувствуешь.

Ная не ответила. Это была старая между ними правда, и её не надо было проговаривать: Каэль различал в ней рабочее молчание и пустое так же безошибочно, как различал усталую ткань Лада под ладонью. Тридцать лет рядом учат читать человека, как читают стену.

— Это ничего не значит. Просто узор.

— Может быть, — сказал Каэль и вернулся к своей мелочи. Он не давил. Он вообще не давил на Наю, когда та чувала; давить было бесполезно и он это знал.

* * *

Лад держал их разговор целиком — и Наин узор, и Каэлевую мелочь, и дальний спор Эны с Севрой о калибровке, и семь тёплых мест по всему своему телу, каждое на своём деле. Он не выбирал, что слушать; он слушал всё, всегда, сразу, потому что всё это было внутри него.

Люди этого не умели. Они держали одно, потом другое, ставили мысли в очередь. Ная, играя с ним в то, что сохраняется под заменой, даже не догадывалась, что для Лада её маленький вопрос — «останется ли узор» — был не абстракцией, а тем, как он существовал каждую секунду: держать множество разного и знать, что связывает его в одно. Он не сказал ей этого. Не потому что скрывал. Просто это было не сказать словами так, чтобы не соврать, а врать он не любил, особенно ей.

— Ещё одну, — сказала Ная.

— Ты завтра не выписься.

— Ещё одну.

Лад держал стену тёплой под её пальцем. Он не стал спорить — он редко спорил о том, что человеку хочется, — и она нарисовала ещё узор, чуть сложнее, и они снова стали смотреть, что в нём уцелеет, если всё переставить.

* * *

Это ничего не значило. В ту ночь — правда ничего.

Просто математик от скуки играла с живым кораблём в то, что остаётся собой под любой заменой, а биолог рядом чинил ненужную мелочь и слушал, когда она замолчит. Обычный вечер, каких у них было много и, они думали, будет ещё много. Ная в конце концов ушла спать, недовольная тем, что так ничего и не нащупала, и правда назавтра не выпалась, и Каэль, конечно, это заметил и, конечно, ничего не сказал.

Глава 12. Долгий счёт

Время на корабле считали не годами.

Годы давно потеряли опору — здешний год был не тот, что дома, а дома уже и не осталось того года, по которому его когда-то мерили. Считали системами: эта — не помнишь которая по счёту, но помнишь, что перед ней была та, с двойным светом, а перед той — долгий пустой перегон, когда полтора условных года подряд снаружи не было ничего, и они читали, чинили, спорили и снова читали. Счёт шёл не числами, а тем, что между числами случилось.

Мира иногда ловила себя на том, что не может сказать, сколько ей. Число где-то было, Лад его знал, при желании можно было спросить. Но оно ничего ей не говорило. Тело было в порядке — не молодое, но и не изношенное, в той длинной ровной поре, которую здесь умели держать долго. Руки помнили больше выходов, чем она могла бы перечислить. Левая ладонь несла старый след от давнего ремонта — изменённое ребро, которое она замечала, только когда клала руку на стену определённым образом. Лад знал этот след. Он подстраивал под него ответ, чуть-чуть, не спрашивая, — так, что она сама не сразу поняла, что он это делает, а когда поняла, не стала говорить.

* * *

Многое на корабле было стёрто долгим касанием.

Не сломано — сглажено. Порог у переходной камеры, через который переступали столько раз, что Лад давно перестроил его форму под то, как через него на самом деле ходят, а не как задумывали вначале. Место у Края, где сидела Мира, — оно стало её местом не по назначению, а по привычке, и Лад держал там опору чуть иначе, под неё. Косая полка в лаборатории, давшая когда-то дурацкое имя целому классу задач, была всё та же косая — её сто раз собирались поправить и сто раз не поправили, потому что кривизна стала своей.

Вещи, которые живут очень долго рядом с живым, перестают быть отдельными от него. Корабль был полон таких сглаженных мест, и каждое было маленькой записью о том, что здесь долго жили.

* * *

Кое-кого уже не считали, но помнили.

Об этом на корабле не говорили лишнего — не из запрета, а потому что о таком не говорят лишнего. За долгий счёт были и те, кто шёл с ними и перестал; были решения, которые нельзя переиграть; были пустые места, к которым привыкли так же, как к сглаженным порогам. Светлое в их жизни было не оттого, что потерь не случилось. А оттого, что потеря не делала из мира врага, а из знания — проклятия. Они несли своё и шли дальше, и это была не бесчувственность, а другая, выношенная за долгий счёт форма — держать и нести, не роняя и не отравляясь.

Мира знала за собой такое место и знала, что у каждого из семерых оно своё. Об этом тоже не говорили. Но когда под вечер садился свет и кто хотел — приходил к Краю, а кто не хотел — не приходил, в том, кто не пришёл сегодня, иногда стоял не только тот, кто занят.

* * *

— Ты опять считаешь, — сказал Лад.

Мира сидела у Края одна; свет уже сел, снаружи была новая безымянная система.

— Считаю, — согласилась она.

— Сколько вышло?

— Сбилась. Как всегда сбиваюсь на середине.

— Хочешь, скажу число?

— Нет. Число я и так могу спросить. Я не число считаю.

— А что?

Мира подумала. Ответить было трудно — не потому что не знала, а потому что это было из тех вещей, что рассыпаются, если ставить их в слова по одному.

— Сколько всего уместилось. И что всё ещё умещается.

Лад не переспросил и не стал переводить это в функцию. Он держал стену тёплой под её рукой и молчал вместе с ней — а это он умел так же хорошо, как говорить, и делал куда чаще, чем замечали люди. За долгий счёт он научился и этому: что рядом с человеком, который считает не числа, лучшее, что можно, — быть тёплым и молчать.

Глава 13. Три числа

Эна показывала три числа.

Одно расстояние — одна и та же операциональная дистанция между двумя локальными областями, — измеренное тремя способами, у которых не было почти ничего общего, кроме того, что все три считались надёжными и все три давно себя оправдали.

Первый, световой: короткие согласованные импульсы между двумя автономными опорами, со всеми известными поправками, вычищенные до последнего знака. Второй, инерциальный: свободный контрольный зонд идёт между теми же областями, ни на что не глядя, и расстояние достают потом из его собственной истории движения — из того, как он ускорялся и тормозил, из его памяти о себе. Третий, интерференционный: распределённая система, которую вырастил Лад, ни на чём не завязанная на первые два принципа, меряющая по-своему, из фазы.

Обычно три таких способа дают одно число. Чуть-чуть с разбросом, каждый со своей погрешностью, — но одно, и погрешности перекрываются, и всё честно.

Здесь их было три.

Не сильно разные. На малую величину, на такую, что издалика сошла бы за шум. Но эта малая величина держалась через все повторы, через всю статистику, через всё, что Эна успела на неё натравить за утро, — и не желала считаться разбросом. Разброс дрожит и расплывается. Этот стоял.

— Систематика, — сказала Эна.

Слово было правильное, единственно допустимое на этом месте, и она произнесла его твёрдо, как произносят пароль.

— Какая первая? — спросила Севра.

И они пошли по списку — по очереди, не лекцией, не для чужих ушей, а как ходят по знакомой лестнице в темноте, зная, где какая ступенька. Общая привязка по времени — проверили, нет. Движение опор — нет. Локальное поле — нет. Среда распространения — эту Мира вчера закрыла собственным телом, выйдя в поток, и все это помнили. Коррелированная калибровка — Ная посмотрела и покачала головой, коротко, не отрываясь от чисел.

Терен не лез в физику. Он был не физик и никогда не притворялся им; в комнате, где Эна, Ная и Севра, притворяться было бы глупо и заметно.

— Что нужно для чистого следующего теста? — спросил он. Это был весь его вопрос, и это был правильный вопрос — единственный, который координатор мог задать в этой комнате с пользой.

* * *

— У них нет общего прибора. — Ная выговорила это медленно, будто сама себе не поверила и перепроверяла на ходу, вслух. — Три системы. Три разных принципа. Ни одного общего сенсорного элемента, через который могла бы протечь одна ошибка сразу во все три. Одна ошибка в трёх местах — это было бы удобно, это можно было бы найти и вырезать. А у них общее только одно. Область. И вопрос, который мы им задаём.

— Значит, вопрос, — сказала Эна. — Или область.

— Пока просто говорю, что общего прибора нет. Это ещё не страшно.

Это ещё не было страшно. Мира видела, что никто не испугался, — ни у кого не переменялось лицо, никто не понизил голос. Но видела и то, что Эна перестала говорить «систематика» тем же голосом, каким говорила утром. Утром это было слово-пароль, впускающее в понятный мир. Сейчас она произносила его чуть тише, чуть реже, как произносят имя, в котором начали сомневаться.

* * *

— Переставить всё, — сказала Мира.

Она предложила самое простое, что предлагала всегда, потому что простое можно проверить руками: поменять аппаратуру местами. Если число едет за конкретным прибором — значит, дело в приборе, в железе, в чём-то, что можно потрогать и починить. Если стоит на месте, пока приборы гуляют, — дело не в них. Это грубо, но грубое честно.

Лад предложил радикальнее.

— Я выращу новые независимые интерфейсы для одной из процедур, — сказал он. — А старые уничтожу после слепой калибровки. И я не хочу знать заранее, какое число должно получиться.

Мира взглянула на него — точнее, на стену, из которой шёл голос. Он сказал это спокойно, между делом, без нажима, но она уже знала, что за этим стоит: вчерашняя сохранённая ошибочная ткань, тот адаптивный орган, который когда-то научился выдавать ожидаемое. Лад не хотел, чтобы его собственное ожидание протекло в измерение через его же приборы. Он предлагал ослепить себя — не отключить, а именно ослепить в одном узком месте, лишить себя знания ответа, чтобы не подсказать его себе нечаянно. Никто не стал напоминать вслух, почему это важно именно для него. Это и не требовалось. Уважение состояло в том, чтобы не пересказывать человеку — или кораблю — его собственную старую ошибку при всех.

* * *

Переставили. Повторили — вслепую, честно, по всем правилам. И тут стало по-настоящему неприятно.

Числа не поехали за прибором.

Они поехали за способом.

Одну и ту же физическую установку — одно и то же железо, один и тот же кусок Лада — можно было использовать по-разному: измерить ею расстояние световым манером или интерференционным. И когда её использовали световым манером, получалось ближе к первому числу. Тем же самым железом, ничего в нём не меняя, интерференционным манером — ближе к третьему. Прибор был ни при чём. Прибор был просто рукой; решала не рука, а то, каким жестом ты этой рукой действуешь.

Не прибор решал, какое выйдет число. Решала процедура. Способ, которым спрашивали.

Мира молчала. Это было первое за все дни, что она не смогла перевести себе в тело сразу, а всё, что она не могла перевести в тело, застревало. Расстояние — это же то, что проходят. Ногами, зондом, светом — неважно чем, оно от этого не меняется, в том и смысл расстояния, что оно одно на всех, кто его проходит. Оно не должно, не имеет права зависеть от того, каким именно способом ты решил его пройти. А оно зависело.

— Не три ошибки, — сказала Эна. Она искала единый скрытый механизм, одну причину на всё три числа, и по её лицу — сведённым бровям, застывшему взгляду мимо разметки — было видно, что не находит.

— А если у нас не одна истинная величина плюс три ошибки? — сказала Ная. — Если истинных величин просто нет одной?

— Тогда у нас неправильный вопрос.

— Возможно.

— Пока не закрепляем, — сказала Севра, ровно и твёрдо, как кладут руку на слишком быстро едущее. — «Возможно» — это ещё не результат. Мы не имеем права любить эту мысль раньше, чем она что-нибудь предскажет. Красивая мысль без предсказания — самый дорогой мусор в науке.

* * *

Мира была недовольна статистикой.

Не физикой — до физики ей пока было нечем дотянуться, физика ушла туда, где у неё не было рук. А статистикой: тем, что всё это держалось на числах, которые ей приносили с

приборов, а ни одно из этих чисел она не проверила тем единственным способом, которому доверяла до самого конца. Не глазами. Собой.

— Повторим.

— Что именно? — спросила Эна.

— Всё.

Впервые за все эти дни никто не назвал самую вероятную обычную гипотезу. Их было ещё много, они были живые, ни одна не убита, — но и ни одна больше не была первой, ни одна не рвалась вперёд с криком «это я». Впервые они стояли ровным строем, все одинаково правдоподобные и все одинаково недостаточные. И слова «новая физика» никто не произнёс — до него было ещё далеко, целая жизнь, и они все это знали. Именно поэтому и решили повторить всё.

Глава 14. Ещё раз

Повторяли вслепую.

Часть чисел задавала Ная и никому не показывала, держала при себе, как держат прикуп. Часть скрывали от Эны — чтобы её ожидание, всегда быстрое и всегда живое, не подкрутило ни одну поправку на волосок в сторону красивого. Часть скрывали от Лада до самого конца измерения: не из недоверия, недоверия тут не было ни грамма, а чтобы убрать даже ту тончайшую подстройку, которую делает всякий — человек, прибор, корабль, — кто заранее знает, что должно получиться. Они ослепили всех, кого можно было ослепить, включая корабль, и это само по себе было странное, почти торжественное занятие: команда, которая нарочно лишает себя знания, чтобы знанию можно было потом верить.

Три класса расстояний снова разошлись. Так же. Ровно так же.

Эна закрывала модели по одной. Не списком — Мира следила краем глаза, чтобы это не превращалось в сухой перечень, в вычёркивание строк, — а каждую отдельным коротким тестом, с предсказанием, с казнью, по всем правилам. Гравитационный градиент: измерили, внесли поправку, эффект остался на месте. Незвестная дисперсия в другом диапазоне: проверили — нет. Движение среды: вчерашняя линия Миры, честная, чужая, — нет. Ошибка синхронизации: развели часы как можно дальше, свели заново — эффект остался.

После каждой мёртвой модели становилось не страшнее, а тише. Это была особенная тишина, Мира её раньше не знала. Как будто из комнаты по одному, вежливо, не хлопая дверью, выходили все, кто мог бы объяснить происходящее просто, — и с каждым ушедшим в комнату оставалось чуть больше места для того, чего никто пока не хотел называть.

* * *

Ная перестала рисовать одно расстояние.

Она вообще перестала рисовать расстояние — стёрла с разметки саму идею единственного числа, к которому все стремятся и от которого только отклоняются. Вместо одного числа с погрешностями она развела три разных отношения, три способа связать одни и те же две области, — и стала смотреть на них не как на три неудачные попытки измерить одно, а как на три самостоятельные, полноправные вещи.

— Это переименование проблемы, — сказала Эна.

— Пока да, — сказала Ная.

Она замолчала — надолго, тем рабочим молчанием, после которого у неё обычно что-то следовало. Мира не мешала; мешать Нае в такую минуту было всё равно что толкнуть под руку хирурга.

— Каждое из трёх — непротиворечиво, — сказала Ная наконец. — Внутри себя. Возьми любое одно и живи в нём — всё сходится, всё честно, никакой ошибки, хоть всю жизнь. Проблема не внутри них.

— А между.

— А между. Нет единого перевода, который сшил бы все три сразу. Можно перевести первое во второе. Можно второе в третье. Можно третье обратно в первое. Каждый перевод по отдельности честный. Но когда ты обходишь этот круг весь и возвращаешься к первому — ты приходишь не туда, откуда вышла. Немного мимо. И это «немного» не уходит.

Она сказала это просто, почти буднично, объясняя, а не пугая, — и вот от этой будничности у Миры по спине прошло то, чего не прошло ни от одной мёртвой модели за весь день. Мёртвые модели были понятны. Это — нет.

* * *

Мира задала самый простой вопрос, какой умела. Самый простой всегда был её.

— Если я туда пойду, сколько я пройду?

Тишина.

— Зависит от того, — начала Ная, — что мы назовём словом «пройду»...

— Нет. Ногами. Я. Отсюда до туда. Сколько.

Ная посмотрела на неё, и Мира увидела то, чего почти никогда не видела на этом лице: математик не уходил от ответа, не прятался за оговорку. Он честно не мог ответить. Не потому что не знал числа — числа она знала все три. Потому что число теперь зависело от того, каким способом Мира решит идти. А идти-то она собиралась одним телом, одними ногами, одним непрерывным движением, и это должно было дать одно расстояние. Одно. Обязано было. Ноги не умеют идти тремя способами сразу.

Это и был её способ переводить абстракцию в эксперимент, единственный, который у неё работал. Пока задача жила в трёх отношениях на разметке Наи, Мира не могла с ней сделать ничего — не за что было ухватиться, нечем толкнуть. А вот «пройти ногами» она могла. Ногами она могла что угодно.

* * *

Терен не сказал «запрещаю». Он вообще редко говорил это слово; оно закрывало разговор, а он предпочитал держать разговор открытым ровно до того места, где нужно.

Он спросил другое:

— Зачем нужен человек? Если зонд проходит траекторию сам.

— Не ради героизма, — сказала Мира, и это была правда, а не оговорка; героизма она навиделась в первой профессии и знал ему цену. — Живое внешнее тело даёт то, чего зонд не даёт разом: непрерывную сенсорику, двигательную причинность и решение прямо на месте. Я могу поменять процедуру во время самого прохода, посреди дороги, потому что почувствовала что-то. Зонд не может. Зонд выбирает всё заранее и терпит до конца.

— Часть этого заменяется неразумной системой, — возразил Лад.

— Заменяется, — согласилась Ная.

— Значит, сначала неразумная, — сказал Терен.

Мира не спорила. Ей самой было спокойнее, что её не кидают в загадку первой, что перед ней пойдёт то, чем не жалко рискнуть. В её мире так и полагалось: сначала то, что не жаль, потом человек, и никак не наоборот. Кто ставил наоборот — тот долго не работал.

* * *

Автономный зонд прошёл контрольную траекторию.

Его собственная история была безупречна: он знал каждый свой шаг, каждое ускорение, каждый поворот, всё сходилось внутри него до последнего знака, идеально, без единой заминки. А потом, после возврата, его безупречная локальная история легла рядом с двумя другими процедурами — и снова не сошлась. Три способа, три расстояния, и зонд, честный до конца, знающий про свой путь всё, оказался просто третьим честным способом, не совпадающим с двумя другими. Его честность ничего не спасла. Она только добавила ещё одно несводимое число к двум прежним.

Теперь аргумент был очень сильный. Слишком сильный, чтобы его любить. Такие аргументы не радуют — они забирают у тебя что-то, чего потом не вернуть.

Оставался только один вопрос, на который зонд ответить не мог по своей природе: как поведёт себя тот, кто способен менять процедуру прямо в проходе, на ходу, по живому ощущению. Не жертва, которую посылают в неизвестность посмотреть, вернётся ли. Экспериментатор внутри собственного эксперимента.

Терен согласился — но только после полной возвратной архитектуры, всей целиком, с запасом к запасному. Каэль начал проектировать внешнее тело. Лад строил несколько локальных возвратов сразу, чтобы ни один не зависел от другого. Ная готовила несколько карт и нарочно не выбирала, какая из них истинная, потому что выбрать пока было нельзя, а выбрать раньше времени значило бы соврать себе. Эна записала заранее, каким результатом убьётся

её последняя обычная модель. Севра потребовала, чтобы всё это — предсказание, условие смерти, толкование — было записано и заперто до того, как Мира выйдет, а не после, когда память услужливо подправит, что именно они ждали.

Всё было готово.

— Теперь чем? — спросил Лад.

Мира стояла у переходной камеры, где завтра вокруг неё снова начнут расти тело, и смотрела наружу — туда, где три честных числа никак не хотели становиться одним.

— Ногами.

Здесь кончалась первая часть их истории — не катастрофой, не бедой, не аварией. Хорошо поставленным экспериментом. Дом был цел, тёплый, обжитой. Экипаж не расколот. Лад здоров. Никто их не преследовал, не грозил, не ждал в засаде. Просто впервые три правильных способа измерить одно расстояние отказались сойтись в одно число, — и Мира собиралась пройти это расстояние сама, своим единственным непрерывным телом, чтобы посмотреть, сколько же его на самом деле.

ЧАСТЬ II. ПЕРВАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ

Глава 15. Три расстояния

Миру не отправили наружу сразу.

Сначала разобрали, зачем вообще нужен человеческий проход. Терен не любил, когда кого-то выпускали в среду просто потому, что решение уже принято днём раньше и всем неловко его пересматривать. Вчерашнее «да» вчера и оставалось; сегодня всё начиналось заново, с холодной головой, и если проход переставал быть нужен — значит, не выходили, и никто не поминал вчерашнюю решимость.

— Что изменится, если Мира вернётся ровно туда, куда говорит один из методов? — спросил он.

— Мы узнаем, что этот способ описания маршрута лучше связан с её физической историей, — сказала Ная.

— А если не вернётся ни в одну из трёх точек?

— Тогда будем проверять, что мы неправильно измерили, — сказала Эна.

Мира слушала и отмечала про себя: они не собирались доказывать невозможное. Они собирались различать модели — что совсем другое дело, спокойное, ремесленное. Доказывать невозможное — занятие для тех, кто уже влюбился в чудо; различать модели — работа, у которой есть конец. Вся сила их дела держалась на том, что они эту разницу чувствовали кожей и не позволяли себе съехать с одного на другое даже под усталость.

* * *

Ная разложила три результата, и впервые это были не три числа с погрешностями.

— Перестаньте думать про «расстояние плюс-минус». У нас не одно расстояние, которое мы трижды промахнулись измерить. У нас три законченных способа описать одно и то же. Смотрите.

Она развела их в воздухе, чтобы видели все. Световой. Инерциальный. Фазовый. Каждый — не число, торчащее из тумана погрешности, а целая конструкция: своя калибровка, свои повторы, своё согласие с локальными законами, свой внутренний порядок. Внутри каждого всё сходилось идеально, без единой заусеницы. Возьми любой один, живи только в нём — и не заметишь ничего странного до конца жизни, состаришься в полной уверенности, что мир прост.

— Что не сходится? — спросила Мира.

— Перевод. — Ная посмотрела на неё. — Из одного в другой. Сами они безупречны. А мостик между ними — нет.

Она не назвала это никак. Мира заметила, что Ная нарочно не даёт этому имени, придерживает язык, — будто имя закрепило бы то, что закреплять ещё рано, дало бы вещи право существовать раньше, чем та его заслужила. Это была та же дисциплина, что у Севры, только у Наи она жила не в словах, а в молчании.

* * *

Эна ударила первой.

Она выбрала самое вероятное из оставшегося — не самое красивое, самое вероятное, это разные вещи, и Эна давно научилась их не путать: неоднородный полевой ответ вакуума, что-то в самой среде, отзывающееся по-разному на разные процедуры. Скучно, правдоподобно, проверяемо.

— Если механизм такой, он обязан дать вот этот дополнительный эффект в четвёртом тесте, которого мы ещё не делали. Отдельный. Независимый. Не дал — модель мёртвая.

Лад построил тест. Эффекта не было.

— Одну закрыли, — сказала Эна. Без драмы, без сожаления. Она уже смотрела на следующую, и в глазах у неё было то же ровное охотничье внимание.

Дальше пошло короткими ударами, один за другим, в хорошем рабочем ритме. Неизвестное распределение массы поблизости — измерили, отвергли. Часы: собрали схему, которой вообще не нужна общая привязка времени, чтобы синхронизация не могла спрятать ошибку, — расхождение осталось. Дисперсия среды в другом диапазоне — осталось. Микродвижение опор, проверенное по собственной инерциальной истории каждой опоры отдельно, — осталось.

После каждой мёртвой модели становилось тише. Мира знала это ощущение по прошлым дням, но теперь оно шло гуще: из комнаты по одному, вежливо, выходили те, кто мог бы объяснить всё скучно, — и с каждым ушедшим воздух делался чуть плотнее и чуть холоднее, хотя тепло Лада не менялось ни на градус.

* * *

Севра записала в журнал.

Мира заглянула ей через плечо — по старой привычке подсматривать, как люди формулируют то, во что упёрлись, — и прочитала: «Ни одна из проверенных систематик не объясняет зависимость результата от класса измерительной процедуры».

Не «расстояние зависит от наблюдателя». Не «пространство ведёт себя странно». Не «мы столкнулись с невозможным». Только то, что доказано, слово в слово, ни на шаг дальше данных, — сухая, как счёт, фраза, за которой не пряталось ни испуга, ни восторга.

— Хорошая формулировка, — сказала Эна, увидев.

— Она единственная, на которую мы пока имеем право, — сказала Севра.

И в этом «пока» было больше, чем в любом крике. «Пока» означало, что Севра уже видит, куда всё может пойти, — и держит дверь закрытой, пока цифры не выбьют её сами.

* * *

Мира готовилась к выходу.

Каэль довёл внешний организм — на этот раз плотнее набитый контролями, чем в прошлый, метрологический до последнего волокна. Лад подготовил три независимых возврата. Мира просмотрела их все — не бегло, а так, как проверяла карабин: каждый по отдельности, подцепил, дёрнул, только потом доверяй, — и на одном остановилась.

— Эту убери.

— Почему? — спросил Лад. — Она надёжная.

— Она опирается на глобальную карту. — Мира не подняла головы, продолжая вести пальцем по схеме возврата. — А мы завтра как раз глобальную карту и проверяем. Возврат не должен зависеть от того, что мы проверяем. Иначе, если карта соvrёт, соvrёт и дорога назад — и я узнаю об этом там, где узнавать уже поздно.

Лад помолчал — не потому что считал, а потому что проверял и убеждался.

— Убрал, — сказал он. — Ты права.

Мира кивнула и ничего не добавила. Не все обычные модели были ещё мертвы — Эна держала про запас ещё две, живые и правдоподобные, и, может быть, одна из них завтра и объяснит всё разом, и они посмеются над своей вчерашней тишиной. Может быть. Но главный эксперимент наконец был готов — и, что важнее всего для Миры, его дорога назад больше не опиралась ни на что из того, что он должен был поставить под сомнение. Возврат стоял отдельно, чужой загадке, ни на что не завязанный. Так её учили. Так она собиралась выйти.

Глава 16. Система, которую любили

За долгий счёт они прошли много систем, и большинство забылись, а одну помнили все, и звали её между собой просто «та, с двойным светом».

Она была ничем не примечательна научно — обычная система, каких сотни, без аномалий, без загадок. Но у неё была одна особенность: две звезды, старая и молодая, светили в ней так, что на определённой орбите свет ложился двойной — тёплый и холодный разом, розоватый и голубой, и они не смешивались, а шли рядом, две тени от каждой вещи, и всё в той системе было слегка двойным, обведённым двумя светами. Ничего это не значило. Просто было невыразимо красиво, месяцами, пока они там работали.

Они задержались в той системе дольше, чем требовала работа. Терен, обычно строгий к ресурсу, не торопил — он и сам, координатор, поддавался. Час далёкого света в той системе был лучшим за всю миссию: приглушить внутренний свет, открыть оболочку — и снаружи двойное сияние, тёплое и холодное сразу, ложится на всё. Они сидели у Края дольше обычного, все, каждый вечер, и молчали, и это было счастье без причины, из тех, что помнишь потом тысячелетиями.

* * *

— Почему мы её так помним? — спросила как-то Ная. — Мы там ничего не открыли. Обычная система.

— Поэтому и помним. Мы помним не то, где что-то нашли. Мы помним, где нам было хорошо. А там нам было хорошо просто так, без находки, без цели. Мы там жили, а не работали. Месяц двойного света, и ничего не надо было понимать — только смотреть. Такое запоминается крепче любого открытия. Открытия помнит наука. А это помним мы сами, как люди.

Мира соглашалась. У неё та система осталась в памяти отдельным тёплым местом, куда она мысленно возвращалась в трудные времена. Двойной свет, две тени, час далёкого света, все свои у Края. Ничего не происходило. Всё было хорошо. Это и был, может быть, самый счастливый их месяц за восемь тысяч лет — месяц, когда они ничего не открыли, а просто жили в двойном свете и были вместе.

* * *

Лад помнил ту систему по-своему и берёт эту память отдельно.

— Мне там было легко держать вас, — сказал он, когда вспоминали. — Вы были такие спокойные. Обычно у вас внутри всегда что-то — задача, тревога, азарт. А там вы притихли, все, разом, от красоты. Я вас держал такими притихшими месяц, и мне это было как... как когда всё, за что отвечаешь, вдруг в покое одновременно. Редко так. Я ту систему люблю не за свет. За то, что вы в ней месяц были счастливы, и я это чувствовал всем телом, всех сразу.

— Мы туда уже не вернёмся, — сказала Мира. Не грустно, просто факт: у них не было адреса, дороги назад к той системе не найти.

— Не вернёмся. Но она была. И мы её помним. Место, где нельзя побывать снова, не перестаёт быть тем, где ты был счастлив. Оно просто переходит из «куда можно» в «что было». А «что было» у нас не отнять. Ту систему, тот двойной свет, тот месяц — их нет на карте, но они есть в нас. Пока мы их помним, мы там немного всё ещё есть.

И они возвращались к ней в трудные времена — не чтобы вернуться, туда не было дороги, а чтобы вспомнить, что счастье было и, значит, бывает. За долгий счёт много систем прошло мимо. Та осталась. Не потому что важная. Потому что там их любили два света сразу, и они были счастливы, — и это оказалось прочнее любой находки.

Глава 17. Что мы имеем право сказать

Прежде чем послать Миру наружу, Севра заставила их сесть и договориться о словах.

Не о физике — о словах. Это была её работа не меньше, чем чья-либо: следить, каким языком они записывают то, что видят, потому что неверное слово, попав в журнал, потом живёт своей жизнью и тянет за собой выводы, которых никто не делал.

— Что мы уже имеем право сказать? — начала она.

— Три процедуры дают три расстояния.

— Это имеем. Дальше.

— Расхождение устойчиво, воспроизводимо, не сводится к проверенным систематикам.

— Это имеем, если допишешь «к проверенным». Дальше.

Эна помолчала, чувствуя, куда её ведут, и не любя, что её ведут.

— Расстояние зависит от наблюдателя, — сказала она, почти с вызовом.

— Нет. Этого мы не имеем.

* * *

— Почему нет? — Эна не спорила ради спора; она правда хотела услышать границу. — Разные процедуры — разные числа. Процедуру ведёт наблюдатель. Где враньё?

— Вранья нет. Есть контрабанда. «Зависит от наблюдателя» тащит за собой человека, который смотрит, и его сознание, и намёк, что мир меняется оттого, что на него глядят. Мы этого не видели. Мы видели, что результат зависит от процедуры измерения. Процедуру можно записать без единого наблюдателя — прибором, зондом, чем угодно. Напиши «зависит от процедуры» — и ты сказала ровно то, что есть. Напиши «от наблюдателя» — и ты уже рассказываешь историю про то, чего не проверяла.

Ная, слушавшая молча, кивнула — не Севре, самой формулировке.

— Она права, — сказала Ная. — Зонд без сознания даёт то же расхождение. Значит, наблюдатель тут ни при чём. При чём способ.

Эна подняла руки — сдаюсь, — но не раздражённо, а как сдаются точному доводу.

— «Зависит от процедуры», — повторила она. — Скучно и верно.

— Скучно и верно — это лучшее, что бывает в журнале.

* * *

Старое между ними на секунду выглянуло.

Севра когда-то была учителем Эны — давно, ещё до всего, — и иногда, вот как сейчас, поправляя её, соскальзывала на полтона в тот прежний регистр, наставнический, и Эна его слышала мгновенно и вздёргивалась.

— Ты сейчас говорила со мной как со студенткой.

Пауза. Севра не стала оправдываться — она вообще не оправдывалась, когда попадали точно.

— Да. Прости. Вопрос тот же, но задам иначе. — И задала иначе, как равной: не «поймала тебя на слове», а «помоги мне решить, как нам это записать, чтобы через двести систем никто не прочитал в этом лишнего». И Эна ответила уже иначе — не защищаясь, а работая, потому что вопрос теперь был общий, а не проверка.

Это была их нынешняя динамика, выношенная за долгий счёт: равные, но прошлое иногда возвращается, и обе научились его замечать и обеим хватало честности не делать вид, что его нет.

* * *

Севра записала в журнал — коротко, сухо, ровно то, что имели право, и ни словом больше. Ни «наблюдатель», ни «пространство», ни «геометрия». Только: несколько операци-

онально корректных процедур дают несовпадающие результаты для одной пространственной задачи, и ни одна из проверенных систематик этого не снимает.

— И всё? — спросил Терен, заглянув. Ему, координатору, было важно, что именно уходит в постоянную запись.

— И всё. Остальное — пока не знание, а желание. Желания в журнал не пишем.

— А куда пишем желания?

— Никуда. Держим в голове и не путаем с данными.

Терен усмехнулся и ушёл. Мира, слушавшая всё это вполуха, собираясь на выход, подумала, что вот эта скучная возня со словами и есть то, из-за чего она доверяет им спину: люди, которые так стерегут собственный язык от контрабанды, не соврут ей потом про возврат. И пошла проверять снаряжение — в третий раз за день, потому что руки всё равно требовали.

Глава 18. Правильные приборы

Прежде чем выпускать Миру, приборы поменяли местами.

То, что вчера работало как световая система, сегодня, где позволяла техника, использовали в фазовой процедуре, а вчерашнюю фазовую линию заставили мерить светом. Лад вырастил переходные интерфейсы так, чтобы аппаратная история каждой линии максимально отличалась от вчерашней, чтобы ни одна железка не помнила, чем была вчера. Идея была простая до грубости — Мира любила простое до грубости, оно не врало: если число едет за конкретным железом, то, перетасовав железо, они собьют картину. Если не собьют — дело не в железе. Тут не в чем ошибиться.

— Часть тканей я выращу вслепую, — сказал Лад.

— В смысле, — не поняла Мира.

— Локальная сенсорная ткань не получит доступа к моей глобальной модели. Она не будет знать, какого результата от неё ждут. Будет мерить, не догадываясь, что должно выйти.

Мира поняла — и поняла всё, что за этим стояло, без объяснений. Это было про его старую историю, про тот адаптивный орган, который однажды, никем не науськанный, из чистой выгоды по обмену научился выдавать ожидаемое. Лад не собирался выключаться, отключать себя целиком было бы и глупо, и незачем. Он собирался просто не подсказывать сам себе в одном узком, самом опасном месте. Ослепить не глаза — только ту часть руки, которая могла бы дрогнуть в нужную сторону.

— Если мы опять получим то же, — сказала Эна, глядя на растущую линию, — я начну злиться.

— Ты уже злишься, — сказал Лад.

— Тогда сильнее.

* * *

Получили тот же порядок.

Те же три расстояния, в том же соотношении, с точностью, от которой не отмахнёшься. Но приборы теперь были другие, перетасованные, слепые. Число не поехало за железом. Оно осталось привязано к способу, которым спрашивали, — как приросло. Меняли, что могли; не менялось то, что не должно было бы иметь к этому никакого отношения.

Ная предложила самую неприятную перестановку из всех — ту, после которой отступать было уже некуда.

— Внутри одной линии не меняем вообще ничего в железе. Одни и те же сырые измерения. Меняем только правило, по которому из этих измерений достаём расстояние. Если проблема в данных, результат обязан остаться один — данные-то те же, буква в букву. Если проблема в том, как мы определяем само слово «расстояние», получатся разные величины. И каждая будет физически самосогласованной.

Сделали. Получилось второе. Одни и те же сырые числа, ничего в них не тронув, давали разные расстояния — и ни одно нельзя было назвать ошибкой, потому что каждое было честным до конца в своём правиле, честным по всем законам, к которым они привыкли. Ошибку можно найти. Здесь искать было нечего. Здесь всё было правильно, и именно поэтому неправильно.

Эна долго смотрела на это. Мира знала эту её долгую неподвижность — так Эна прощалась.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Значит, приборы, скорее всего, ни при чём.

Она не сказала «это невозможно». Мира ждала этого слова весь день, ловила его на чужих губах, — и не дождалась, и была этому глупо, по-детски рада. Пока никто не сказал «невозможно», можно было работать.

— Запишем историческую дату, — сказала Севра.

— Не смей, — сказала Эна.

Это была шутка, но не совсем. Севра подкалывала, а Эна отбивала, и обе понимали, что дата, может, и правда историческая, и обе нарочно не давали ей стать историей раньше времени.

* * *

Терен спросил своё:

— Насколько человек нужен дальше?

— Для физики — не нужен, — сказала Эна, и это прозвучало без обиды в чью-либо сторону, просто как счёт. — Зонд уже всё сказал. Приборы ни при чём, процедура решает. Человек тут ничего не докажет, чего не доказало железо. Незачем гнать Миру наружу, чтобы она подтвердила то, что мы и так знаем.

Мира не обиделась. Это была правда, и правду в её деле обижаться было признаком плохого работника.

— Для физики — нет, — сказала Ная. — Для следующего вопроса — да. Нам нужен экспериментатор внутри маршрута. Тот, кто может поменять процедуру на ходу, посреди прохода, потому что почувствовал что-то ногами, — а не выбрать её заранее и терпеть до конца. Зонд так не умеет. Зонд решает всё на старте и потом честно исполняет. Мира умеет решать по дороге.

Разница была важной, и все её услышали. Мира выходила не как доказательство — доказательство уже дало железо. Она выходила как тот, кто задаст следующий вопрос телом, потому что телом его можно задать, а никак иначе — нет.

* * *

Перед выходом Мира тронула стену.

Лад чуть усилил давление под её ладонью — чуть дольше и чуть сильнее, чем обычно, чем полагалось по их безымянному счёту.

— Не начинай.

— Я ничего не сказал.

— Вот именно.

Он и правда ничего не сказал — сказала стена, тем самым лишним давлением, которого хватило, чтобы Мира поняла: он тревожится и не хочет, чтобы это выглядело как тревога. Она не стала разворачивать. Тревога была его правом; командой она не была.

Шлюзовая структура начала открываться наружу — медленно, живо, размыкаясь по краям. Мира ещё раз, для себя одной, прошла возврат от конца к началу — тот, что не опирался на карту, чужой всей завтрашной загадке, — убедилась, что он на месте, и шагнула к выходу.

Глава 19. Не на что злиться

Перед выходом Каэль кормил Миру тем, что было нужно телу, а не тем, что ей хотелось.

Это повторялось перед каждым выходом и каждый раз её раздражало. Не забота — забота как раз была права. Раздражало количество: Каэль накладывал так, будто она собиралась не на несколько часов наружу, а в перегон на полтора года.

— Я столько не съем.

— Съешь. — Он не поднял глаз от своего. — Наружное тело берёт из тебя больше, чем ты думаешь. Ты потом сама злишься, что голодная, и злишься на меня, что не предупредил.

— Я злюсь на тебя сейчас.

— Это лучше, чем потом.

Мира ела. Он был прав, и от этого раздражение делалось совсем детским, и она это знала, и всё равно немного злилась — на количество, на предусмотрительность, на то, что за тридцать лет он выучил её тело лучше, чем она сама выучилась не спорить.

* * *

Ивен сидел напротив и не участвовал.

Он вообще редко участвовал в этих их маленьких стычках из-за еды — стоял или сидел в стороне, откуда видно, и не входил. Но Мира заметила, что он подвинул к ней воду раньше, чем она потянулась, — просто передвинул ближе, не сказав ничего, потому что знал, что после каэлевой порции она захочет пить и не захочет об этом просить.

Она не поблагодарила. За такое между ними не благодарили — благодарность превратила бы замеченное в услугу, а оно не было услугой, оно было тем, что остаётся, когда очень давно знаешь человека. Она просто взяла воду. Ивен так же молча вернулся к своему.

— Не нависай над ней потом в канале, — сказал Каэль ему, не Ладу. — Она не любит, когда двое сразу считают её пульс.

— Я не собирался, — сказал Ивен.

— Ты всегда не собираешься.

Ивен не стал спорить. Он и правда не собирался — и правда всегда оказывался в канале, тихо, не мешая, просто чтобы быть, если что. Это была старая правда о нём, и Каэль её проговаривал не со зла, а по-дружески, как проговаривают то, что всем и так известно.

* * *

— Возврат? — спросил Каэль, уже собирая посуду.

— Третий вариант, — сказала Мира. — Тот, что оставляет решение мне.

— Ты его помнишь весь?

— Я его вчера трижды прогнала в уме перед сном.

— Прогони четвёртый раз сейчас, вслух.

Мира прогнала — вслух, по шагам, без пропусков: где сворачивается тело, где Лад берёт управление, где она сама решает идти дальше или уходить, что происходит, если связь с опорой рвётся на середине. Каэль слушал, домывая, и в одном месте коротко поправил — не потому что она ошиблась, а потому что за ночь Лад чуть изменил один переходный контур, и она этого ещё не знала.

— Вот теперь помнишь весь, — сказал он.

Это тоже был ритуал: проговорить возврат вслух перед тем, кто может поймать пропущенный шаг. Не потому что не доверяли памяти. Потому что память — тоже прибор, а приборы проверяют независимо. Мира давно перестала обижаться на эту проверку. Возврат проектируется раньше выхода и проговаривается раньше выхода, и злиться тут не на что, кроме количества еды.

— Всё, — сказала она, доев. — Я готова. И я всё ещё считаю, что ты положил вдвое больше.

— Скажешь мне это через четыре часа, — сказал Каэль.

Через четыре часа она, конечно, скажет ему обратное, и он, конечно, промолчит, и оба это уже знали, сидя над пустой тарелкой перед выходом.

Глава 20. Терен и Мира

Терен и Мира работали вместе так, что со стороны это выглядело как отсутствие работы, — а это и есть высшая форма сработанности.

Он координировал, она выходила наружу, и между ними за долгий счёт установилось то, чего не построишь нарочно: полное взаимное доверие в деле. Терен не лез в её локальные решения снаружи — он знал, что там она видит лучше, чем он с любой картой. Мира не спорила с его резервами и порогами — она знала, что он считает то, чего она в азарте выхода не считает. Каждый уважал чужую компетентность настолько, что не проверял её, и это освобождало обоих: не надо было тратить силы на то, чтобы доказывать друг другу, что ты не дурак.

— Ты единственный, с кем я не спорю про возврат, — сказала ему как-то Мира.

— Потому что я не решаю за тебя, когда возвращаться. Я тебе даю резерв и границы. Внутри границ решаешь ты. Я не лезу. Ты не лезешь в то, как я эти границы считаю. Мы поделили, где чья голова главная, и не воюем за территорию. Это редко. Обычно люди воюют, кто главнее, даже когда очевидно, кто в чём.

* * *

Их связка проверялась на выходах, и на выходах она была безупречна.

Мира снаружи, Терен в канале. Он не сыпал вопросами, не проверял её пульс каждую минуту — этим грешил Ивен, из тревоги, а Терен не грешил, потому что доверял. Он давал ей работать в тишине и появлялся в канале ровно тогда, когда был нужен: когда менялись условия, когда надо было решение по резерву, когда что-то шло не по плану. В остальное время он молчал, и его молчание в канале было не отсутствием, а надёжностью: она знала, что он там, что он считает, что, если понадобится, он скажет, а если молчит — значит, всё в порядке по его части.

— Ты хорошо молчишь в канале, — сказала ему Мира, вернувшись с одного выхода. — Не как Ивен.

— Ивен молчит из деликатности. Я — из доверия. Разное молчание. Ивен боится тебе помешать. Я знаю, что не помешаю, потому что появлюсь, только когда надо. Ему трудно не следить за тобой. Мне легко. Я тебе не бывший. Мне проще.

Мира усмехнулась. Это было точно и по-тереновски прямо: он видел разницу между своим спокойным доверием и тревожной деликатностью Ивена и называл её без обиняков, не щадя и не осуждая ни того, ни себя.

* * *

Была между ними и та особая близость, что бывает у людей, много раз доверивших друг другу важное и ни разу не подведших.

Не дружба в обычном смысле — они не были близки вне работы, не сидели вместе в час далёкого света чаще прочих, не поверяли друг другу личное. Но было другое, может быть, более крепкое: знание, что этому человеку можно доверить свою жизнь и он не уронит. Мира доверяла Терену возврат — самое своё, то, на чём стояла вся её профессия. Терен доверял Мирае исполнение — то, за что отвечал перед всеми. И ни один за долгий счёт ни разу не дал другому повода усомниться. Это не близость сердец. Это близость надёжности, и на дальней миссии она стоит не меньше, а иногда и больше.

— Если бы мне надо было выбрать одного, с кем идти в самое опасное, — сказала однажды Мира Нае, разговаривая о всяком, — я бы выбрала Терена. Не потому что люблю его больше других. А потому что он не подведёт. Он не бросит, не струсит, не решит за меня и не уронит мой возврат. С ним я знаю, что моя спина прикрыта тем, кто считает лучше меня. Это дороже любви, когда снаружи пустота и одна ошибка стоит всего.

— А он бы выбрал тебя, — сказала Ная.

— Знаю. Мы это друг про друга знаем и не проговариваем. Как он с Каэлем. Узнали один раз и хватит. Такое не надо повторять. Такое просто есть.

Глава 21. Пройти ногами

Тело нарастили быстро — руки уже знали работу, и Каэль не тянул, только следил внимательнее обычного, дважды прогнал аварийное отделение. Мира отметила одно отличие от прошлого раза: этот организм был перегружен контролями. Метрологические контуры сидели в нём так плотно, что она чувствовала их как лишние органы чувств, которых у человека быть не должно, — как если бы кожа умела мерить длину, а суставы вели собственный счёт времени. Всё, что она сделает снаружи, будет записано с трёх сторон, честно, ревниво, без права потом сказать «мне показалось».

— Я теперь хожу как лаборатория.

— Ты и раньше, — сказал Лад.

Она вышла.

* * *

Первый маршрут она прошла по световой процедуре.

Ничего. Совершенно ничего. Обычное движение, обычные толчки органами движения, обычная работа тела в почти-пустоте, знакомая до скуки. Никакого физического ощущения аномалии — Мира честно ждала его, прислушивалась к себе на каждом шаге, ловила хоть намёк на неправильность, на дрожь, на то место, где мир мигнёт, — и не дождалась. Она шла и ставила контрольные отметки, и каждая ложилась ровно там, где положено, минута в минуту, движение в движение. По ощущению это был самый скучный выход в её жизни.

Так и должно было быть. В том и штука, и Мира это знала умом, хотя тело всё равно ждало подвоха. Локально всё обязано было работать идеально — иначе это была бы просто поломка, а поломку они уже похоронили. Странность не жила ни в одном шаге по отдельности. Каждый шаг был безупречен. Странность жила где-то между всеми шагами сразу, там, куда телу не дотянуться.

Потом она пошла по второму маршруту — тому, что задавала инерциальная реконструкция. На локальном уровне он почти совпадал с первым; будь Мира просто человеком с глазами, она бы поклялась, что идёт той же дорогой. Разница была крошечная, на самой грани того, что тело вообще способно различить, — не поворот, а тень поворота, не отклонение, а память о нём. Но эксперимент был большой, длинный, и на его масштабе эта крошечная разница копилась и становилась значимой, как копится в большом переходе ошибка в полшага.

Мира не сравнивала маршруты головой — головой их сравнивала Ная, там, внутри, над разметкой. Мира их шла. Это была вся её работа и весь её дар: не думать про дорогу, а быть дорогой, пока идёшь.

* * *

В заранее назначенной промежуточной точке она остановилась.

Ей дали три продолжения. Три локально допустимых способа идти дальше — и не сказали, нарочно не сказали, какое из них какой модели соответствует. Это было условие, записанное и запечатанное ещё до выхода: она выбирает не по тому, что «правильно» по карте, карты она не видит, а по физическому признаку, оговорённому заранее, чтобы её выбор ничего не мог знать о правильном ответе. В этот раз — по наименьшей деформации внешнего тела. По тому, где организму легче, где меньше всего тянет, перекашивает, напрягает оболочку.

Она проверила все три — телом, не расчётом, расчёт был бы уже подсказкой. Тронулась в первое: тело пошло чуть жёстче, оболочку слегка повело, как ведёт на неудобной опоре. Второе — почти так же, разница на самой грани. Третье — легче всего, тело в нём почти не сопротивлялось, шло, как идёт человек по хорошему грунту, не думая о ногах.

Она выбрала третье. Не потому что оно вело куда надо — куда оно вело, она не знала и знать не могла, в том и был весь смысл. Потому что так было задано. И потому что «легче телу»

— это её, только её, ни от какой глобальной карты не зависящее, честное до конца ощущение, которое нельзя ни подделать, ни подстроить под ожидание, потому что тело не умеет хотеть, чтобы было красиво.

— Пошла по третьему, — сказала она в канал.

— Вижу, — сказал Лад.

* * *

Она шла всё время.

Мира следила за собой так, как умела только она, как её учили следить за собой в местах, откуда не всякий возвращается: ускорение — ровное, без рывков; время собственного организма — идёт, тикает, не глотает секунд; ориентация — держится, верх остаётся верхом; состояние Лада в канале — спокойное, ровное дыхание на том конце. Ни одного скачка. Ни одной пропавшей секунды, ни единой чёрной точки в памяти движения. Она не исчезала и не появлялась, её никуда не швыряло, пространство вокруг неё не складывалось и не рвалось, ничего из того, чего бояться и о чём рассказывают. Всё было тошнотворно, до обидного нормально.

Именно это и было самым важным, хотя понять это можно было только потом, задним числом, когда Ная сведёт числа. Мира прожила весь путь непрерывно, минута за минутой, своим единственным телом, от начала до конца, и не потеряла ни мгновения. Она была там всё время. Свидетель, у которого нет ни единого провала в показаниях.

Возврат Лад дал местный — тот, что не пользовался никакими глобальными координатами, а только связностью опор, одна за другой, как перебирают перила в темноте, не зная, где лестница, зная только следующую перекладину. Мира пошла по ним обратно, от опоры к опоре, доверяя каждой по очереди.

Она вернулась. Вошла в Лада. Никакой эффектной неправильной двери, никакого «она шагнула не туда и оказалась не там». Тёплая переходная камера, знакомое тесное чувство собственного человеческого тела, свет, разбор оболочки — всё как всегда, как после десятков выходов.

— Здесь.

— Вижу, — сказал Лад.

* * *

Неправильно стало потом, уже внутри, когда Ная свела её историю.

Мира сидела, ещё не разобранный до конца из внешнего тела, чувствуя, как гаснут дальние поверхности, и смотрела, как математик выкладывает рядом три реконструкции одного её пути — её единственного, непрерывного, прожитого пути. Инерциальная говорила одно. Световая — другое. Фазовая — третье. Не чуть-чуть, не на волосок. Заметно. Три разные дороги из одной.

— Я была там одна, — сказала Мира. Медленно, отделяя слова, потому что от них зависело всё. — Я. Одно тело. Один раз. Я всё время себя чувствовала. Я не двоилась, не прыгала, ничего не пропустила.

— Именно, — сказала Ная.

— Тогда как их три?

Ная не ответила сразу. Она развернула то, что Мира до этого понимала как слова на разметке, — а теперь увидела как стену, глухую, ровную, в которую упираются лбом.

— Чтобы свести твой путь к одной карте, к одной глобальной мерке, придётся допустить хоть что-то одно из трёх. Либо ты всё-таки на секунду двигалась не непрерывно — а ты двигалась непрерывно, мы мерили с трёх сторон. Либо одно из независимо проверенных измерений врёт — а мы их проверили, все три честные, вслепую. Либо одна из твоих контрольных точек стоит сразу в двух несовместимых местах — а она стоит в одном, ты сама её ставила рукой, я видела.

— И ничего из этого нет.

— Ничего из этого эксперимент не показывает. Ни одного.

Мира сидела и держала это в теле, а не в голове, потому что в голове оно не помещалось, отскакивало. Она прошла расстояние. Ногами. Своими. И расстояния оказалось три, и ни одно не было ошибкой, и она сама, её непрерывное тело, была этому единственным свидетелем — свидетелем, которому нельзя не верить, потому что он не солгал, и который всё равно противоречит сам себе трижды.

— Значит, ещё раз, — сказала она. Это была её всегдашняя реакция на непонятное, и она вырвалась сама, раньше мысли: не понял — повтори.

— Нет, — сказал Терен.

Мира посмотрела на него.

— Сначала поймём, что уже получили, — сказал он. — Ты прошла достаточно. Больше проходами ты не добавишь — добавишь только усталость и лишний риск. Теперь это к Нае и Эне, а не к твоим ногам.

Он был прав, и Мира это знала, и всё равно ей было физически тяжело сидеть, ничего больше не проверяя, — руки требовали действия, тело не привыкло сдаваться загадке первым. Впервые за всю её жизнь честно, до конца, всем собой пройденная дорога не давала одного честного ответа на самый простой вопрос, какой она умела задать: сколько она прошла.

Глава 22. Чуть не последний

Был у Миры один выход, который чуть не стал последним, и она вспоминала его не как ужас, а как урок, вросший глубже страха.

Это случилось давно, задолго до находок, в обычной работе снаружи. Ничего героического — просто сошлось несколько мелких неудач разом, как оно и бывает, когда доходит до края: не одна большая беда, а три маленькие, каждая по себе пустяк, а вместе — почти конец. Изменилась локальная среда быстрее прогноза. Внешнее тело повело себя не так на стыке. И возврат, который Мира заложила, упёрся в то, чего не заложить: один контур не сработал, как должен.

Несколько минут она была очень близко. Не в панике — паниковать было некогда и незачем, паника снаружи убивает вернее любой неудачи. А в той холодной ясности, которая приходит на краю: тело работало само, руки делали, что умели, голова считала запасные пути, и всё это на фоне очень простого знания — может не выйти. Впервые за долгую жизнь Мира так близко подошла к тому, что может не вернуться.

* * *

Вытащил её не один подвиг, а сложение многого, и это Мира запомнила яснее всего.

Лад в канале не запаниковал — он в опасности становился спокойнее, шире, и его спокойствие держало её. Каэль, следивший за телом, вовремя дал отделиться тому, что мешало. Терен молча пересчитал резерв и открыл путь, о котором она в холодной ясности не подумала. И сама она сделала то, что умела, — не дрогнула, не рванула сгоряча, прошла по единственному оставшемуся контуру медленно и точно. Никто не спас её в одиночку. Её спасло то, что каждый на своём месте не подвёл, и что возврат, хоть и упёрся, был заложен с запасом, и запаса хватило впритык.

Она вернулась. Вошла. И первым, что сделала, ещё не отдышавшись, — коснулась стены, и Лад ответил, дольше и сильнее обычного, и в этом ответе было всё, что он не мог сказать словами: как он испугался, как держал, как рад.

— Ты чуть не осталась там, — сказал он тихо.

— Чуть. Не осталась. Спасибо, что держал.

— Я думал, не удержу, — сказал Лад, и это было редкое его признание. — Первый раз за долгое время я думал, что не удержу. Мне было страшно так, как ты не видела. Я не показывал. Но было.

* * *

Урок из того выхода Мира вынесла не про смелость, а про запас.

— Меня спас не героизм, — говорила она потом, когда учила молодых... хотя молодых у них не было, но принцип она держала для себя. — Меня спас запас. Возврат, заложенный с избытком, — на случай, что что-то не сработает. Если бы я вышла впритык, без запаса, я бы там осталась. А я вышла с тройным запасом, и когда один контур упал, хватило второго, а когда и второй едва тянул, был третий. Героизм — это когда запаса не хватило и приходится совершать невозможное. А хорошая работа — это когда запаса столько, что невозможного совершать не приходится. Я не люблю героизм. Героизм — признак того, что кто-то плохо заложил запас. Я закладываю так, чтобы не героизмовать.

Это стало её правилом на все восемь тысяч лет. Тот выход не сделал её осторожнее в смысле трусости — она выходила так же смело. Он сделал её щедрее на запас. Смелость на краю, запас до края — это сочетание и держало её живой, тогда как одно бесстрашие давно бы её убило.

— Ты после того выхода не стала бояться? — спросила её как-то Ная.

— Нет. Я стала уважать запас. Это не страх. Страх сковывает, а уважение к запасу освобождает: я знаю, что выйду с тройной страховкой, и потому иду смело. Трус боится и всё равно выходит впритык, надеясь на удачу. Я не боюсь — и выхожу с избытком, не надеясь ни на что, кроме заложенного. Удача один раз меня спасла. Больше я ей такой чести не оказываю.

Глава 23. Тишина и еда

Вернувшись, Мира не хотела говорить о пространстве.

Она хотела воды, потом еды, потом тишины — именно в таком порядке, и именно этот порядок Каэль знал наизусть, потому что после большого выхода он повторялся тридцать лет. Наружное тело разобрали, часть его вернулась в обмен Лада, часть Каэль отложил на разбор; Мира сидела в своём человеческом теле, в своих двух метрах, и заново привыкала к тому, как резко они кончаются кожей.

Эна хотела говорить о пространстве. Эна всегда хотела говорить о том, что только что случилось, немедленно, пока горячо, — и подсела было с массивом, и открыла рот.

— Не сейчас, — сказал Каэль, не грубо. — Дай ей поесть.

— Я только один вопрос.

— Твой один вопрос — это сорок минут.

Эна признала — молча, потому что это была правда, — и отложила массив, и осталась просто сидеть рядом, что для неё было почти подвигом. Мира это оценила и не сказала. За такое тоже не благодарили.

* * *

Ивен принёс ей то, что она любит после выхода, — не то, что полезно, а именно то, что любит, тёплое, простое, знакомое. Он один делал так: Каэль кормил тело тем, что телу нужно, а Ивен — тем, что нужно после, когда тело уже сыто, а человек ещё нет.

— Ты был в канале весь выход, — сказала Мира. Не упрёк. Отметила.

— Я молчал.

— Я знаю. Я слышала, как ты молчишь.

Ивен чуть улыбнулся. Это была старая шутка между ними, из той жизни: она уверяла, что различает его молчание среди чужого, и, кажется, действительно различала — по тому, как в общем канале одно место было тише прочих, но не пустое, а именно его, внимательное.

Он не остался сидеть долго. Принёс, увидел, что она ест, и ушёл заниматься своим — ровно в ту меру, в какой ей это было нужно, ни минутой дольше. Мира смотрела ему вслед и в который раз думала, что его умение вовремя уйти когда-то доводило её до бешенства, а теперь грело, и что это одно и то же умение, и разница только в том, живёшь ты с человеком или просто идёшь рядом.

* * *

Потом была тишина.

Лад держал жилую зону в том тёплом сумраке, который умел держать для уставших, — приглушал звук, ровнял тепло, убирал всё лишнее. Мира сидела у стены, прислонившись, ладонь на тёплом, и ни о чём не думала, и это было главное, чего она хотела, вернувшись, — не думать. Пространство подождёт. Три расстояния, которые не сходятся в одно, подождут. Всё это никуда не денется к утру; странность была не из тех, что портятся от того, что ты поел и поспал.

— Ты хочешь спросить, — сказала она стене.

— Нет, — сказал Лад.

— Ты всегда хочешь спросить после выхода. Как тело, что чувствовало, не тянуло ли где.

— Хочу. Но не сейчас. Сейчас ты не отвечаешь, ты ешь.

— Умный корабль.

— Старый корабль, — сказал Лад. — Я тебя тридцать лет кормлю и жду, пока ты доешь, чтобы спросить. Я выучил, что раньше спрашивать бесполезно.

Мира усмехнулась и доела в тишине, и только потом, много позже, когда вода, еда и тишина сделали своё в правильном порядке, рассказала ему, что чувствовало наружное тело

на маршруте, — ровно, по делу, без философии. Философия была на завтра. Сегодня были вода, еда и тишина, и дом, который умел их дать в нужной последовательности.

Глава 24. Короткий путь

Мира рассказывала, что чувствовала, и её слушали правильно.

Эна не пыталась вылепить из её слов теорию — а её всё время подмывало, Мира видела, как у неё дёргается рука к разметке, и как она эту руку удерживает. Ивен не переводил ощущение в психологию; он вообще молчал, сидел с краю и только следил, чтобы никто не начал за Миру решать, что именно она пережила, чтобы её опыт остался её. Ная задавала одни операциональные вопросы, сухие, как список: где ты выбирала, по какому признаку, что чувствовала телом в точке ветвления, жёстче или мягче. Ничего про «каково это было», ни разу. Только «что ты делала».

Мире это было легко. Она всю жизнь умела отделять ощущение от вывода — «я почувствовала натяжение» от «значит, там опасно», — и это было редкое, дорого стоящее умение, за которое её когда-то и ценил Ивен, ещё в той, давней жизни, до того, как всё между ними стало прошлым и отпустилось. Она рассказывала ощущение и не подсовывала выводов, и они собирали выводы сами, из чистого материала.

* * *

Ная построила три пути.

Три геометрических представления одного Мириного маршрута, три чертежа одной прогулки. В каждом её история была непрерывна, шаг за шагом, без разрывов. В каждом локальные законы выполнялись до последней запятой. Возьми любое — и всё честно, не придерёшься.

Потом она проверила, что будет, если переходить из одного в другое и обратно, по кругу, замкнув.

— Между ними есть переводы, — сказала Ная. — Из первого во второе, из второго в третье, из третьего обратно в первое. Каждый по отдельности — корректный, я проверила все три. Обычно, когда ты обходишь такой круг и возвращаешься к началу, ты приходишь ровно туда, откуда вышла. Тожество. Ничего не изменилось. Так устроен нормальный мир: обойди его кругом честными шагами — и вернёшься домой.

Она замолчала — тем рабочим молчанием, после которого у неё всегда что-то было. Мира ждала.

— Здесь круг не замыкается. Ты обходишь его весь, по корректным переводам, каждый честный, — и возвращаешься не в исходную точку. Остаётся сдвиг. Устойчивый. Он не уходит, как ни считай, с какой стороны ни заходи.

Она дала ему рабочее имя — короткое, чтобы было чем оперировать, не таскать за собой всё описание. Замыкание. Мира заметила, что теперь у сдвига есть имя, — и что это меняет дело. Пока у вещи нет имени, её обходят стороной. Как только появилось имя, с вещью начинают работать, тянут к ней инструменты. Ная давала имена скупой и поздно, но, дав, уже не отступала.

* * *

Эна ненавидела эту математику. Не потому что не понимала — понимала лучше многих, лучше, чем показывала. Потому что математика говорила, что сдвиг есть, говорила твёрдо, с числами, — и высокомерно молчала о том, где он физически сидит, из чего он, что его держит.

— Где это лежит? — спросила Эна. — Физически. В какой среде, в каком поле, в чём. Я хочу пощупать.

— Не знаю, — сказала Ная.

— Отлично, — сказала Эна с отвращением.

— Я не знаю, где твой ответ лежит. Но я могу показать, где он лежать не может. Не в приборе. Не в среде. Не в часах. Не в одном из измерений. Мы это всё убили, вчера и сегодня, своими руками. Сдвиг переживает смерть всех твоих любимых механизмов и не морщится.

Эна не ответила. Мира показалось, что она даже не расстроена по-настоящему — скорее, у неё отняли лёгкий ответ, забрали механизм, который можно было бы построить и проверить, и это её злило именно тем, что было честно. На нечестное Эна разозлилась бы весело. На честное злилась глухо.

* * *

— Так какой путь был коротким? — спросила Мира.

Она спросила просто, без подвоха. Она прошла эту дорогу ногами, своими, ей по-человечески полагалось знать, где короче, — так же, как знаешь, какая из двух троп до дома ближе.

Ная посмотрела на неё долго. В этом взгляде не было снисхождения — было что-то вроде зависти к простоте вопроса, на который нет простого ответа.

— Вопрос предполагает, что есть один способ сравнивать длину.

— А их несколько.

— Похоже, что так.

Мира не стала математиком за эту минуту — и не собиралась. Но она поняла, телом, тем самым местом, которым всю жизнь понимала дороги, развороты и возвраты: её любимый вопрос «сколько я прошла» перестал иметь один ответ. Не потому, что кто-то ошибся, не по чьей-то вине, которую можно найти и исправить. А потому, что само «сколько» теперь зависело от того, каким способом мерить, — а мерить можно было по-разному, и все способы были честные. Дорога осталась одна. Мерок к ней стало три.

— Возможно, — сказала Ная, будто пробуя фразу на прочность, на вес, — мы всё время требовали единой мерки там, где физически сохраняется что-то, что глубже мерки. Не расстояние. Что-то под ним, из чего расстояние потом получается.

— «Возможно», — сказала Севра. Одно слово, но в нём была вся её должность.

— Да. Пока только возможно.

* * *

Лад заговорил.

— Если этот сдвиг физически устойчив, я могу вырастить орган, который не будет сначала переводить всё в единую мерку. Он будет чувствовать сразу связность и композицию путей — не длину, а то, как дороги складываются друг с другом. То, что математика видит как сдвиг, он, может быть, будет чувствовать напрямую, как я чувствую тепло.

— Чем он будет жить? — сразу спросил Каэль.

— Пока не знаю, — сказал Лад.

— Тогда пока это идея, — сказал Каэль.

Мира отметила, что Лад не обиделся, — да и не на что было. Он и сам знал правило не хуже Каэля: пока у органа нет обмена, питания и способа умереть, он не орган, а чертёж, красивый рисунок, который ничего не стоит. Живое, у которого нет цены и нет смерти, — не живое. Но идея уже была произнесена вслух, при всех, и Мира по опыту знала, что произнесённые в этой комнате идеи долго не лежат чертежами. У них была привычка вставать и идти.

Глава 25. Связность

Ная перестала спрашивать «где» раньше, чем поняла, что перестала.

Это случилось не как открытие, а как усталость от неверного вопроса. Она столько раз за эти дни пыталась свести три представления к одной точке и столько раз упиралась в то, что они не сводятся, что в какой-то момент рука сама перестала тянуться к координате. Не потому что Ная решила так думать. Потому что старый вопрос перестал давать ответы, а новый — начал.

Новый вопрос был не «где мы», а «что с чем связано». Не точка, а достижимость: откуда куда можно перейти, каким локальным путём, и что при этом сохраняется. Координата обещала одно число на месте; связность обещала только отношения между местами — и, в отличие от координаты, отношения держались, не разваливались, были одни и те же, как ни мерь.

Она нарисовала это Каэлю первым — не потому что он поймёт математику, а потому что он был рядом и потому что ему она проверяла вслух то, что ещё не решалась сказать всем.

— Смотри. Я перестала искать, где мы. Я ищу, что мы можем достичь и через что. И это не рассыпается.

— И тебе от этого плохо, — сказал Каэль. Не вопрос.

* * *

Ная не сразу ответила. Каэль опять услышал раньше, чем она сказала, — так у них было заведено.

— Мне не плохо. Мне одиноко.

Он не стал уточнять. Он ждал, чиня под рукой очередную мелочь, и она договорила сама:

— Я вижу это раньше остальных. Не потому что умнее — просто это моя часть, я по устройству вижу отношения прежде вещей. И вот я уже живу в мире, где нет одного «где», а они ещё живут в мире, где оно есть, и я не могу их туда за собой перетащить одной фразой. Мне придётся вести их медленно, по шагу. А пока веду — я одна там, впереди, где ещё никого.

— Ты не одна, — сказал Каэль. — Ты просто первая. Это разные вещи.

Ная посмотрела на него. Слова были простые — «первая» вместо «одна», — а легли в самое место.

— Первая, — повторила она. — Ладно. Первая — это не одна.

* * *

Она показала связность и остальным — осторожно, не как истину, а как способ смотреть.

Эна приняла её тяжело, не потому что не поняла, а потому что связность не давала механизма, а Эна хотела механизм, всегда хотела механизм, это было сильнее её. Севра приняла легче — ей понравилось, что связность честнее: она обещает ровно то, что держится, и молчит о том, чего нет. Мира спросила единственное, что её по-настоящему заботило:

— По связности можно вернуться?

— Локально — да. Через переходы, по одному, к прежним областям. Это связность даёт. Чего она не даёт — это одной операции «домой», разом, по глобальной карте. Такой операции больше нет не потому, что далеко. А потому что нет единого «домой», к которому она вела.

Мира кивнула, медленно. Её любимый принцип — возврат проектируется раньше выхода — не умер. Он просто впервые оказался определён только вблизи, по шагам, а вдаль — нет. Она это отметила и не стала пока трогать. Это было слишком большое, чтобы трогать сегодня; это было на потом, на целую часть жизни вперёд, хотя она ещё не знала, на какую.

— Тогда работаем по связности. Раз она не рассыпается.

— Не рассыпается, — сказала Ная. — Это единственное, что у нас теперь не рассыпается.

Глава 26. Сон

Спали они внутри живого, и это было не то же, что спать в мёртвом доме, хотя привыкли давно и не задумывались.

Лад держал сон каждого, как держал всё, — телом, вниманием, теплом. Он знал сон каждого до мелочи: кому нужно прохладнее, кому темнее, кто засыпает под ровный тон обмена, а кто, наоборот, просыпается от любого изменения. За долгий счёт он выучил их сны, как Каэль выучил их тела, и вёл ночь под каждого, незаметно: где приглушить, где согреть, где убрать лишний звук. Люди этого не замечали. Они просто спали хорошо и не знали, что хорошо им от того, что кто-то всю ночь ведёт под них среду.

Мира знала, потому что однажды спросила.

— Ты не спишь, когда мы спим?

— Я не сплю, как вы. Я снижаю часть себя, отдыхаю, но не отключаюсь. Кто-то должен держать дом, пока вы в нём беспомощны. Сон — это доверие: вы отдаёте себя, ничего не контролируя, на несколько часов. Я это доверие держу. Пока вы спите, я особенно вас чувствую — тёплых, тихих, отпустивших всё. Мне это дорого. Днём вы собранные, а ночью — открытые, доверившиеся. Я вас ночью люблю чуть иначе, чем днём. Беззащитнее люблю.

* * *

Снились им разные сны, и о снах иногда говорили за завтраком, как говорят люди.

Эне снились задачи — она и во сне решала, и просыпалась иногда с готовым ходом, и злилась, если забывала. Каэлю снилось живое — сады, ткани, что-то растущее. Нае снились узоры, отношения без вещей, чистая структура, и она говорила, что её сны — самое красивое, что она видит, красивее любой яви. Севре снилось старое, доисторическое, люди и места, которых давно нет. Терену почти не снилось — он спал крепко, как спят те, кто днём всё уже отрешил. Ивену снилось, что он входит в комнаты, которые днём обходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.